

В.В.Воровский  
Русская  
интеллигенция и  
русская литература

83.3P5

B75

68394.

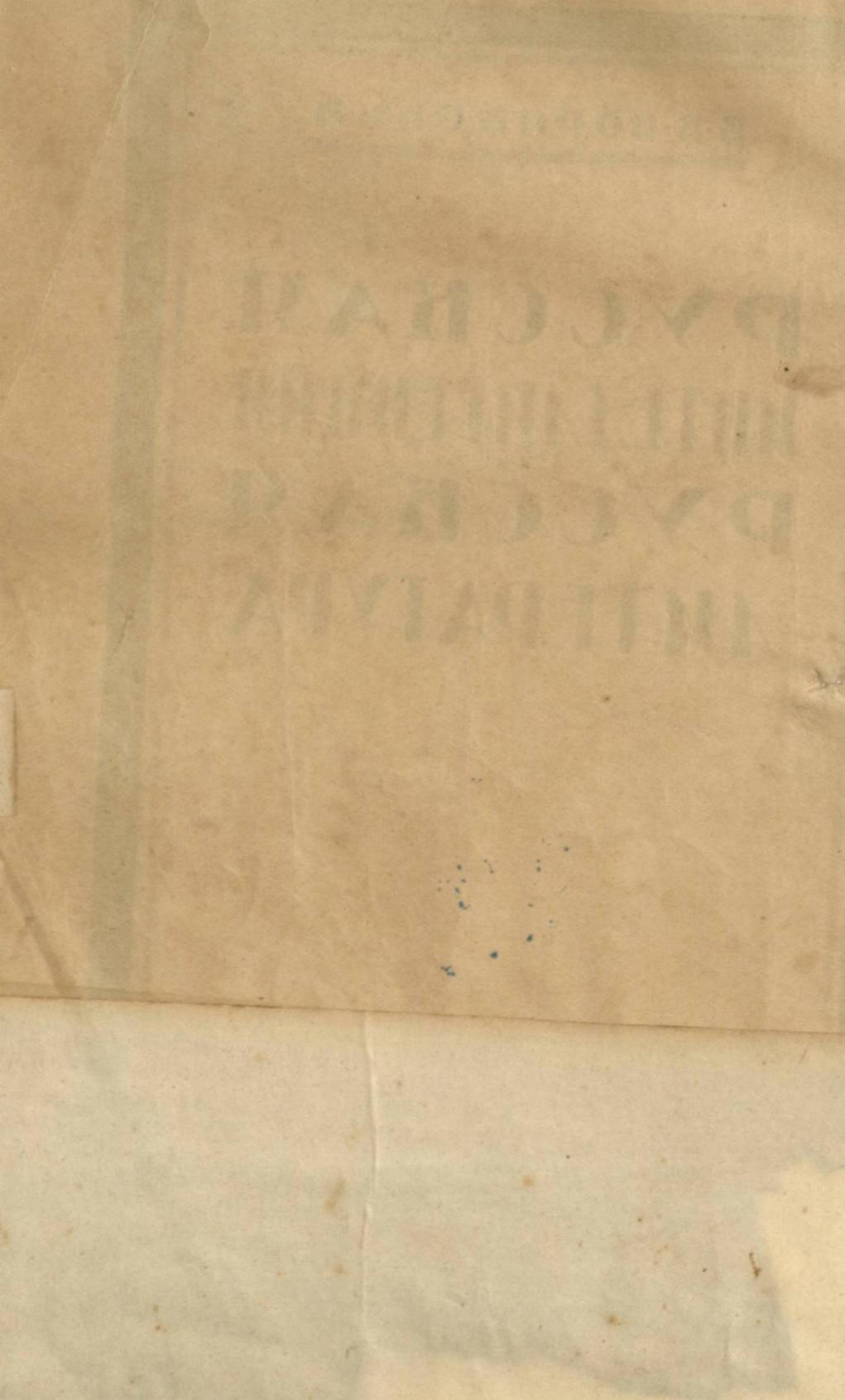
K.B.



В·В·ВОРОВСКИЙ

РУССКАЯ  
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  
РУССКАЯ  
ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРОЛЕТАРИЙ“

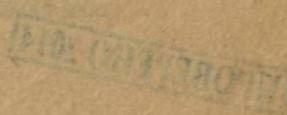


375

В. В. ВОРОВСКИЙ

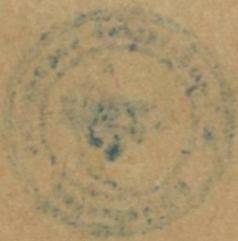
РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  
и РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ≡

СБОРНИК СТАТЕЙ



ХАРЬКОВ  
1923

Г. Симферополь, 1-я Гос. типо-лит. „Крымполиграфтреста“  
Крымлит № 421. Зак. № 1204 (10.000 экз.)



ПРОВЕРено 2014

ПРОВЕРено 2009

Фонд редкой книги  
ГУРГЕНИАН

68394

ЧИТАЛНЯ  
имени  
ТУРГЕНЕВА



Alfred H. Chapman



## От издательства.

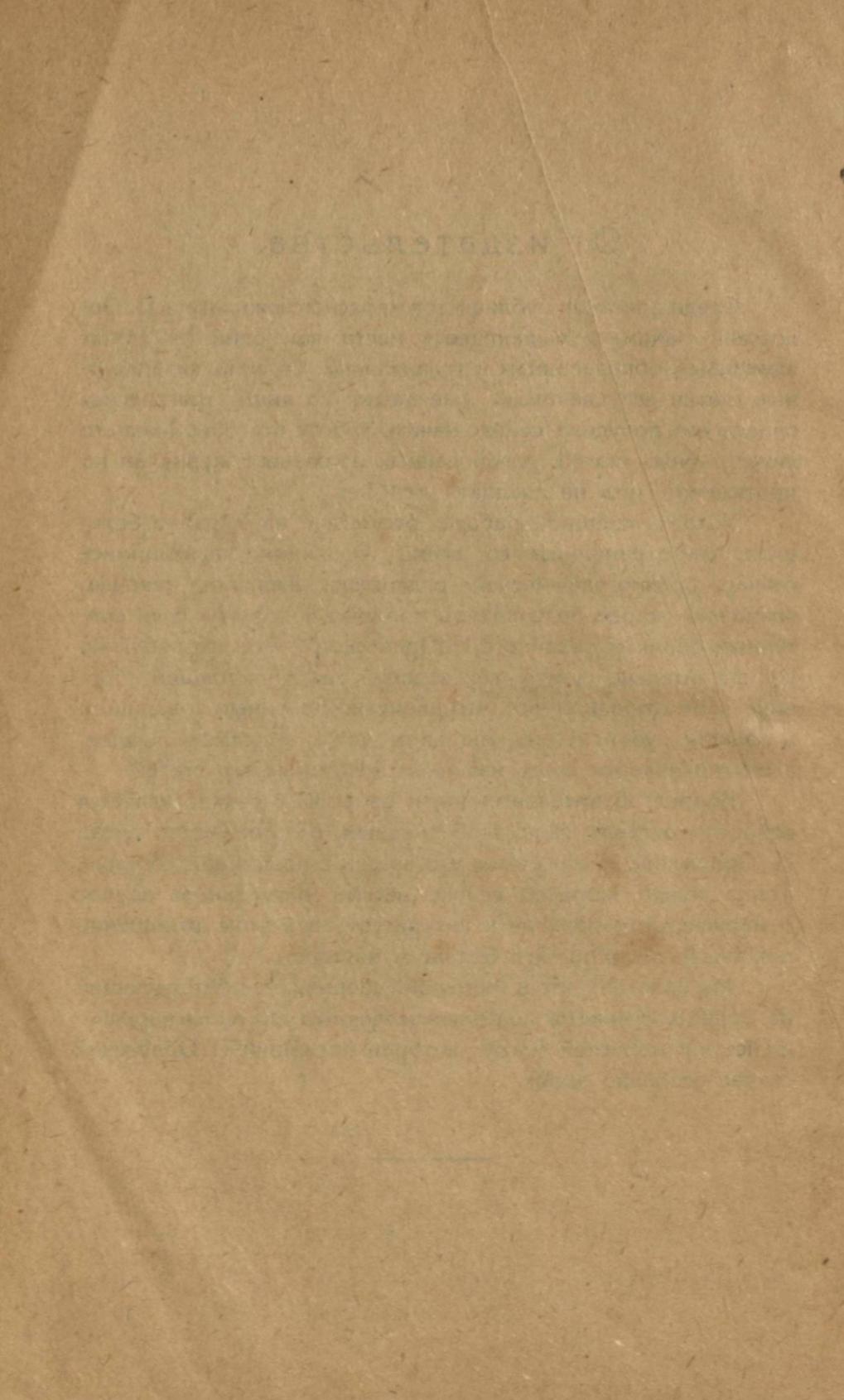
Среди критиков-публицистов марксистского лагеря П. Орловский занимает выдающееся место, как один из самых вдумчивых, образованных и талантливых. Собрать литературные статьи его следовало уже давно; но лишь трагическая смерть его побудила сейчас начать работу по собиранию его литературных статей, разбросанных по разным журналам на протяжении чуть не двадцати пяти лет.

Условия спешной работы, отсутствие на Украине большого книгохранилища со всеми изданиями, являющимися сейчас библиографической редкостью, желание, наконец, возможно скорее познакомить молодые поколения с литературным обликом покойного П. Орловского,—все это побудило нас значительно сузить свои задания: мы в настоящем сборнике даем отнюдь не все, что написано покойным товарищем в области публицистики, мы даем даже не самое лучшее, а ограничиваемся лишь изданием некоторых его статей.

Вопрос об интеллигенции и ее роли и сейчас является вопросом острым, даже злободневным; об этом много писал П. Орловский, и эти статьи его вошли в настоящий сборник. Точно также является сейчас весьма актуальным вопрос о марксистском подходе к литературе, а в этом отношении покойный товарищ был большим мастером.

Мы полагаем, что и настоящий сборник, не претендующий на полноту, окажется полезным и нужным для вновь народившейся читательской массы, которой погибший П. Орловский сейчас особенно дорог.

---



## Красивый финал красивой жизни.

Обычная история: жив был человек, и мы, друзья его и товарищи, не давали себе ясного отчета, какая умственная и нравственная красота воплощается в нем. А вот, как только по первым ударило и душу рвануло ужасное слово „убит“! — тут только нас всех охватило жуткое сознание: его, такого большого, умного, славного, любимого — уже не будет в нашей семье, уже никогда, никогда не сверкнет перед нами радостным теплым лучом его милая улыбка на приятном с тонкими чертами лице, и его уста, через которые он не скрупульно ронял изящную, облеченнную в прелестную, добродушно-юмористическую форму, мысль, сурово сокнувшись навсегда. И чувство позднего сожаления больно ущемляет сердце: хочется естественным порывом нежной, теплой ласки доказать ему, испытанному другу и товарищу, всю силу своей любви и симпатии, но — увы! — поздно уже — ласка по адресу мертвца становится неуместной и иррациональной...

Впервые я встретился с Вацлавом Вацлавовичем Воровским в Женеве, в эмигрантскую пору моей жизни. Это было в начале 1904 г., когда раскол между большевиками и меньшевиками принял уже очень острые формы, но споры и раздоры еще не вышли из стадии так называемых „кооптационных дрязг“, и принципиальные разногласия между двумя фракциями пребывали еще в скрытом, потенциальному состоянии. Для борьбы „кооптационной“, неявно принципиальной, т. Щварц (тогдашняя партийная кличка В. В. Воровского), несмотря на всю свою большевистскую твердокаменность, положительно не годился. Вшедшие в эмигрантские права того времени способы словесных состязаний — или, правильнее сказать, — „мордобоя“ — положительно претили мягкой и полной эстетизма душе т. Воровского. Быть может, отчасти этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что он не только безропотно, но как будто даже без сожаления оставил весной 1904 г. Женеву, где каждый эмигрант, помимо всего прочего, испытывал то приятное чувство свободы, которое подсказывает сознанию, что он находится вне пределов жандармской досягаемости; В. В. уехал из Женевы обратно в Россию (кажется, в Одессу), получив определенное задание от нашего большевистского центра, готовый снова на все роковые случайности нелегальной работы. Если принять во внимание, что здоровье его в то время было совсем

неважное и он частенько был прикован к постели, если еще учесть и то обстоятельство, что в Женеве он покидал очень близкого и дорогого ему человека (Дору Моисеевну, спутницу его дальнейшей жизни), то спокойная светлая улыбка, не сходившая с его лица в этот момент, могла бы показаться демонстративной и неестественной гримасой. Но на самом деле такова была его индивидуальность. Для „мурдобоя“ в Женеве он мало годился. Следовательно— нужно ехать в Россию. И он принимает это „должное“, как своего рода нравственный императив, по отношению к которому всякое чувство недовольства, воркотня, брюзжание или ламентации были бы ниже его революционного достоинства. Вообще, к слову сказать, редко кто-нибудь из нас обладал такой способностью скромно подчинять свою волю партийной дисциплине, какая была всегда свойственна Вацлаву Вацлавовичу. Это был настоящий солдат революции в идеальнейшем смысле этого слова.—Нужно итти в подполье—слушаю с! Нужно оставаться на своем революционном посту—будьте покойны!... Нужно взяться за литературное перо или за корректурный карандаш, просиживая в редакции с утра до поздней ночи—есть! Других реакций на требование своего революционного центра у В. В. никогда не было, да и не могло быть.

По этому поводу хочется вспомнить один эпизод.

Наступили октябрьские дни 1905 г., принесшие, между прочим, и женевским эмигрантам желанную свободу. Царское правительство вынуждено было их амнистировать и дать им право свободного въезда в Россию. Нужно было видеть тот восторг, который охватил всю нашу истосковавшуюся по родной сторонушке эмигрантщину. Люди вебесились от радости, и до такой степени всей душой рвались в Россию, что всякая задержка по части выезда из Женевы воспринималась, как величайший трагизм жизни и как самая злая шутка судьбы. В обезды людевшей редакции „Пролетария“, который нельзя было еще приостанавливать изданием, остались два работника: т.т. Ольминский и Воровский. Но М. С. Ольминский и слышать не хочет об отсрочке вожделенного возвращения на берега Невы, где сейчас развертывается, быть может, важнейший акт величественной революционной драмы. Будь что будет, но он не согласен; он не может далее испытывать свое законное нетерпение: оставаться еще на ряд длинных, бесконечно длинных недель или даже месяцев,—нет, это выше его сил! И вопрос, в конце концов, разрешается „благополучно“: М. С. Ольминский может свободно ехать, потому что у колыбели сиротеющего и умирающего „Пролетария“ безропотно, без единого звука протеста остается В. В. Воровский, выпестовавший это любимое детище

Владимира Ильича и готовый на то, чтобы из опустевшей редакторской комнаты на rue de la Garouge тревожным ухом ловить властно зовущие к себе шумы гремящей революционной стихии на широком встревоженном пространстве от „финских хладных скал до пламенной Колхиды“. И—кто знает?—изменило ли этому прекрасному лицу, озаренному лучом светлой улыбки, его обычное выражение тихой, спокойной, философской созерцательности и оно при отсутствии свидетелей, стало подергиваться гrimасою тоски и отчаяния?

В Женеву Вацлав Вацлавович вернулся из России по вызову Ильича, когда окончательно созрела мысль об издании нашей собственной большевистской газеты в противовес новой „Искре“. Луначарский, Воровский, Ольминский—о! с такими помощниками можно было начинать литературную кампанию, и Ильич „дерзнул“!. Зазвучало его призывное „Вперед“. И возликовали духом велиим наши большевистские сердца.

Редкий номер газеты выходил без статьи Воровского. Наряду с бурно-пламенным и долбящим противника по звонкой башке очередным выступлением самого Владимира Ильича, или бок-о-бок с фейерверками передовиц А. В. Луначарского и в мирном сожительстве с язвительными Галеркинскими выпадами против либерального пенкоснимательства—тут же раскидывались красивые узоры мысли В. В. Воровского, сотканные из вдумчивых марксистских мотивов, из суховатых деловых соображений о лозунгах дня, из прелестной тонкой иронии. Построенные в литературном отношении большим мастером красивого, образного, но в то же время спокойного и не кричащего пафосом языка, статьи Воровского всегда отличались глубоким, марксистски-выдержаным содержанием, отнюдь не трафаретным и не состоящим из общих мест, но в то же время и не поражающим неожиданными, парадоксальными, дерзкими, икаровскими полетами мысли. Эстет до мозга костей, с одной стороны, и трезвый мыслитель-марксист—с другой—таков был Воровский в его литературных и ораторских выступлениях. Какая-то непобедимая застенчивость и чувство скромности сдерживали его некрящуюся мысль в рамках ограниченной деловыми мотивами темы, и поэтому многие из нас, знатоков и ценителей революционного красноречия наших корифеев литературного и ораторского искусства (Ленина, [REDACTED], Луначарского, [REDACTED], склонны были относить В. В. к разряду вторых скрипок. Но совершенно очевидно, что мы недооценивали истинных размеров роста этого необычайно скромного человека, всегда старавшегося ступеваться и спрятаться в толпе рядовых работников. Немногие лишь знали, например, то обстоятель-

ство, что Вацлав Вацлавович был энциклопедически образованный человеком, знавшим, если не ошибаюсь, кроме русского языка, которым он мастерски владел, и родного польского, еще пять европейских языков (английский, французский, немецкий, итальянский и, кажется, испанский). Немногие имели счастливый случай оценить в нем огромное знакомство с художественной литературой, с историей искусства и с памятниками старины. В этом отношении его можно было бы доставить, во всяком случае, не ниже А. В. Луначарского. Он умел создать вокруг себя жизнь, полную гармонии, он страстно любил музыку (и эту страсть поддерживала в нем его жена Дора Моисеевна, сама недурная музыкантша-пианистка), он был тонким ценителем и любителем поэзии, его душа тянулась ко всему, что было самого красивого, созданного человеческим гением, человеческой культурой. Но сам он не успел или не захотел подарить миру капитального труда — продукта большой научной или художественной мысли. Но это отнюдь не может быть обяснено инерцией трудно раскачиваемой на под'ем литературной мысли или боязнью мук литературного творчества. Наоборот, когда он брался за перо, оно у него свободно и легко гуляло по белому листу бумаги. По свидетельству М. С. Ольминского, набросанные смаху Воровским в редакции „Вперед“ или „Пролетария“ статьи были так хороши, что Владимир Ильич почти не подвергал их исправлениям. Если же это перо было так скучно на большую работу, то, по всей вероятности, разгадка этого странного факта кроется в том обстоятельстве, что необычайная скромность и неуверенность в своих силах, а, быть-может и строгая требовательность к литературным произведениям со стороны неисправимого эстета сдерживали его творческие порывы и мешали ему развернуть силы во весь большой рост его литературного дарования. Ригорист и аскет по натуре, он нарочито глушил в себе голос художника и поэта, давая некоторый простор только публицистическому выявлению своей марксистской мысли и посвящая весь запас своих сил практическому революционному делу. А, между тем, чтобы судить о том, какой живой родник чистой, ключевой поэзииился под этими глыбами научного мировоззрения, достаточно пребежать глазами этюдный набросок В. В. в № 10 „Пролетария“ — „Корабль-скитальца“, — это воистину очаровательное стихотворение в прозе. В основу его положено сравнение легендарного Летучего Голландца с плававшим по Черному морю под красным флагом корабля-скитальца, знаменитого „Князя Потемкина Таврического“. О, как изумлены были члены редакции „Пролетария“, когда перед их восхищенными очами ярким огнем неподдельной поэзии сверкнули

блестки упоительного красивого эскиза, созданного порывом души „суховатого“ Вацлава Вацлавовича. Любой абзац из этой статейки может дать понятие об ее поэтических достоинствах и об ее музыкальности. Вот, напр., наудачу взятый образчик: „Прошли века: рассеялась, как сон, странная сказка о корабле-скитальце, носившем бремя преступлений буржуазии. Но сами эти преступления остались неискупленными; они накоплялись и росли, ожидая, пока невинная жертва с чистой душой и незалятнанной совестью искупит их, чтобы расчистить путь солнечным лучам, проложить человечеству дорогу в царство справедливости и счастья.—Рожденный смелой мыслию и страстью жаждой свободы, появился опять на волнах моря корабль-скиталец, —не призрак, не порождение неспокойной совести,—нет, могучий броненосец, полный боевой отваги, гордо поднявший на свободной стихии красное знамя свободы“. Тут же мысль автора останавливается, по живой ассоциации идей, на скитальцах-революционерах, еще недавно бывших предметом суеверного страха народной массы или тупого безразличного отношения, но которые все больше и больше стали приобретать в глазах этой массы репутацию борцов, борющихся за благо и счастье народное и ряды которых стали быстро увеличиваться насчет сотен и тысяч выходцев из косной раньше толпы, готовых теперь променять свой покой на муки скитания.

В. В. Воровский был одним из таких скитальцев-революционеров. В другое время и в другой обстановке он, быть может, был бы властителем дум какого-нибудь философско-эстетического кружка и прославился бы прекрасными свойствами своей хорошей, располагающей к себе души, ибо трудно было встретить другого такого человека, который бы своим дружеским и товарищеским отношением давал окружающим его близким людям и товарищам так много тепла и света, так много нравственного уюта. Но тревожная волна взбаломченного пролетарским движением моря кинула его на революционную борьбу, которой он отдался всей своей большой душой. И по этому взбаломченному морю сталноситься наш скиталец-революционер, пока, наконец, подая пуля какого-то исчадия фашизма не пустила его ко дну. И странное дело! Когда первая весть о смерти В. В. коснулась моего уха, сразу же сознание реагировало чем-то похожим на зависть: эх, чорт побери, что за красивая смерть!

И в самом деле, умереть на своем боевом посту от пули классового врага,—ну право же, это воистину не худой последний аккорд для такой музыкальной жизни неустанного борца-коммуниста, какая выпала на долю нашего Воровского. Он был далеко еще не старым человеком; и хотя

его бодрый дух все время боролся с недугами очень больного и хрупкого организма, хотя смерть несколько раз пыталась схватить его в свои костлявые обятия (он был одной ногой в могиле уже в 1907 г., едва-едва выжил в 1919 г. и торговался со смертью все последние годы), тем не менее, его упорная воля к жизни и привычная страсть к плаванию по бурному морю революции могла бы еще продолжить на несколько лет инерцию его бытия. Темные силы старого мира погасили эту красивую жизнь. Но чего они достигли этим?—Ускорили только тот конец, который был и без того неминуем. Но ведь в том-то и вся штука, что они, эти рыцари отмирающего темного прошлого, эти дон-кихоты буржуазной гнилой романтики, эти свирепые бандиты, рассчитывающие на чудодейственную силу фашистской пули или кинжала, не убили, не могли убить и никогда не убьют того, что осталось бессмертного от „покорного общему закону“ смертного Воровского. Они не убили его великого дела, которому он отдал все свои силы, всю свою жизнь.

И горе вам, несчастные бандиты! Над вашей головой уже занесен меч революционной Немезиды.

Эй, берегитесь!..

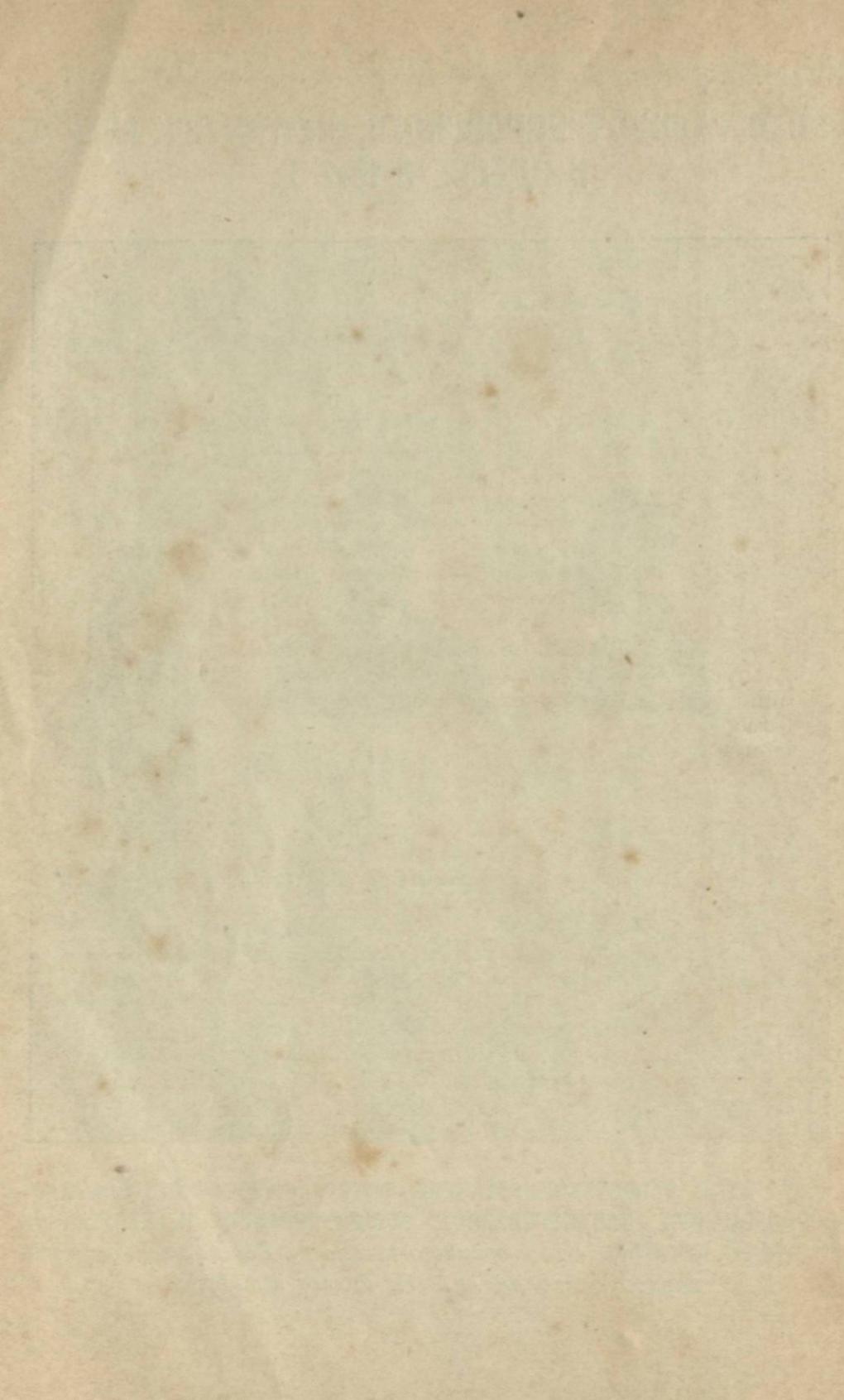
П. Лепешинский.

(«Пролетарская Революция», исторический журнал Испарта, № 3/15 1923г.)

---

**ФОТОГРАФИЯ Т. ВОРОВСКОГО, СНЯТАЯ ПРИ АРЕСТЕ  
В ОДЕССЕ В 1912 Г.**

... Я — лицо запротоколированное, фотографированное, дактилоскопированное, занумерованное, прошнурованное и снабженное казенной печатью. (Из тюремного письма т. Воровского, конфискованного жандармами.) (Из архива истпарта.)



## В. В. Воровский<sup>\*)</sup>

(П. Орловский, Ю. Адамович, Шварц, Фавн).

(Биографическая заметка).

Вацлав Вацлавович Воровский является одним из выдающихся представителей старой марксистской гвардии, „один из тех, гордая кучка которых слишком двадцать пять лет тому назад взяла в руки красное знамя пролетариата и пронесла его незапятнанным сквозь дым и гром классовых битв“; это один из тех, чье благородное сердце умело впитывать в себя страдание масс и биться в униссон с великим сердцем современного титана—рабочего класса.

Родившись в 1872 году, Вацлав Вацлавович уже в 1891 году, девятнадцатилетним юношей-студентом, руководит польским революционным кружком московского университета и уже тогда, тесно связанный с пролетарской массой на фабриках и заводах Москвы, выступает горячим сторонником массовой работы. В 1896 г.—первое боевое крещение—его высыпают из Москвы в Вологодскую губернию на время коронационных торжеств. С осени 1896 г. Вацлав Вацлавович—активный член социал-демократического кружка, связанной с группой „рабочего центра“, а в 1897 г. снова арест с большим количеством рукописей и нелегальной литературы, и в результате опять ссылка на север на 3 года.

В том же 1898 г. В. В. Воровский начинает свою литературную деятельность в качестве критика и публициста. Он выступает с рядом блестящих статей в марксистских изданиях (вначале под псевдонимом Ю. Адамович, а затем П. Орловский) и вскоре занимает выдающееся положение в марксистском журнальном мире,—легальном и нелегальном. За границей, куда покойный В. В. скрылся в 1901 г., он сотрудничает в руководящих партийных изданиях, редактирует вместе с т.т. Лениным, Луначарским, Ольминским первую большевистскую газету „Вперед“; в России его статьи появляются в течение многих лет в различных изданиях („Правда“, „Просвещение“, „Образование“, „Звезда“, сборн. „О веяниях времени“ (конфискованный), сборн. „Литературный распад“ и мн. др.); в последние до революции годы он

<sup>\*)</sup> При составлении настоящей биографической заметки были в качестве материала использованы и надгробные характеристики В. В., напечатанные в столичной прессе.

в Одессе много работает в марксистской легальной газете „Южное Обозрение“ (также „Одесское Обозрение“, „Новое Обозрение“), а затем и в „Одесских Новостях“ под псевд. Фавн, П. Орловский (в 1910—1912 г.г.).

Перу В. В. принадлежит небольшая по об'ему, но очень ценная по содержанию работа „К истории марксизма в России“. Написанная в провинции, вдалеке от богатых книгохранилищ, работа эта, тем не менее, „дает блестящий анализ эволюции революционной марксистской мысли в России и той борьбы, которую пришлось выдержать воинствующему марксизму, расчищавшему почву для окончательного торжества пролетариата в России“ (Зиновьев).

В девятисотых годах, после арестов и тюрьмы В. В. становится в ряды „искровцев“ и участвует в подготовке второго съезда партии. Сам переживши борьбу, происходившую на этом знаменательном съезде, он становится в ряды большевиков и в течение 1903 и 1904 г. принимает самое деятельное участие в организации того большевистского центра в Женеве, который и начал строить партию большевиков. В. И. Ленин, Крупская, Лепешинский, Ольминский, Лядов, Воровский и еще несколько человек — вот тот идейный и практический центр, который в маленьком швейцарском городке выковывал стальное оружие большевизма.

В 1905 г. В. В. Воровский является одним из самых заметных делегатов большевистского 3-го съезда партии от николаевской организации. После революции 1905 г. В. В. возвращается в Россию, где продолжает работу в качестве члена „большевистского центра“ и редактора партийных газет и журналов. В 1909 г., в разгар беспощадных репрессий, В. В. — член одесского комитета партии, в 1910 г. снова арест и суд. В 1912 г. он принимает деятельное участие в кампании по выборам в Государственную Думу, он активный участник южно-русской конференции (на которую прибыл тогда и А. А. Иоффе из Вены, где он был тогда соредактором „Правды“ вместе с Л. Д. Троцким). Конференция, благодаря провокации, проваливается, все ее участники арестованы, сидят и В. В. Воровский, а затем снова, в который уже раз, попадает в Вологду.

В 1917 г., с первых дней существования Советской власти, В. В. Воровский, больной, разбитый бесконечной борьбой, забывает свои недуги и отдается снова борьбе. То он инициатор и организатор Государственного Издательства, то он представитель России в Швеции, то организатор всякого рода предприятий. Мягкий, корректный и терпимый, он умел проявлять железную твердость в отстаивании интересов страны и Советской власти и внушал западно-

европейским странам невольное уважение; он счастливо сочетал в себе идеиную крепость с деловитостью в каждодневных столкновениях. После продолжительной и тяжкой болезни В. В. Воровский получает пост представителя в Италии, где он с большим достоинством защищает интересы своей страны.

Выдающиеся способности, глубокие теоретические познания и необыкновенно привлекательные душевые качества делали тов. Воровского всегда центром, к которому тянулась молодежь. „Кто близко знал В. В. Воровского, тот знает, какую большую моральную величину потеряла партия. Это был, если можно так выразиться, образец морального совершенства и интеллигентности. Всегда скромно, но очень изящно одетый, весь какой то подобранный и нравственно сильный, он, вместе с тем, поражал всех удивительной человеческой терпимостью и снисходительностью. Остроумный, всегда полный самыми высокими теоретическими проблемами, как будто немного всегда настороже, он привлекал к себе своей прелестной улыбкой, чудесными умными глазами и речью, полной тонкого безобидного юмора и насмешки. Нравственная чистоплотность этого человека доходила до крайних пределов—ему было чуждо все низменное и недостойное высокой души. Он презирал лакейство, подхалимство и сервилизм во всех его формах и предпочитал бороться с открытым забралом“ (В. И. Невский).

9 мая 1923 года предательская пуля классового врага прервала жизнь этого даровитого, блестящего, большого человека. Он погиб в Швейцарии, в той самой стране, в которой столько лет он боролся за дело рабочего класса.

Б. Б.



БАЗАРОВ и САНИН

ДВА НИГИЛИЗМА



## Базаров и Санин.

### Два нигилизма.

Около пятидесяти лет тому назад И. С. Тургенев подметил поднимавшийся на поверхность русского общества из неведомых глубин новый тип—Базарова—and занес его на страницы художественной летописи под ярлыком „нигилиста“. Слово пришло к двору, ибо самый тип не замедлил занять видное и влиятельное место в жизни русского, так называемого интеллигентного, общества. С тех пор нигилист стал популярной кличкой—почтенной в глазах сторонников Базарова, позорной—в устах охранителей.

Появление „Отцов и детей“ вызвало целую бурю. Давно уже литературные характеристики не удостаивались такого внимания. И причина этого была та, что чуткая рука художника нашупала больное место общества, обнажила явление, бессознательно волновавшее всех, но еще никем не формулированное ясно. Пусть Тургенев неверно изобразил Базарова в тех или других деталях, пусть он—в силу психической чуждости этому типу—утрировал в нем как раз отрицательные черты,—одно несомненно: в основу характеристики нигилиста он положил действительные черты реального общественного типа, развернувшегося вскоре пышным цветом и заполнившего своей проповедью рационализма и индивидуализма целые десятилетия.

Тургенев лично принадлежал к поколению „отцов—Кирсановых“, хотя и понимал все их недостатки. Эти то недостатки он изобразил в своем романе, противопоставив им соответственные добродетели, которыми он снабдил Базарова. В этом смысле прав профессор Овсяннико-Куликовский, говоря, что Базаров построен по „способу от противного“, как носитель черт, противоположных отрицательным чертам Кирсановых. В этом смысле прав и сам Тургенев, когда уверяет, что, „за исключением воззрения на художества“, разделяет „почти все убеждения“ Базарова.

Базаров был сплан с живого лица—доктора Д., „поразившей“ Тургенева личности. „В этом замечательном человеке,—пишет он,—воплотилось, на мои глаза, то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма“. В докторе Д. Тургенева поразили

не только те положительные черты, которые он придал Базарову, но и ряд отрицательных, особенно неприятных баритуэстету, каким был Тургенев. „Я придал ему (Базарову) резкость и бесцеремонность тона... в следствие наблюдений над моим знакомцем доктором Д. и подобными ему лицами“. Однако, благодаря неизбежному субъективизму чувствований, Тургенев должен был особенно неприятно остро воспринимать как раз эту „резкость и бесцеремонность тона“, доктора Д., в силу чего в изображении Базарова „резкость и бесцеремонность“ занимают преувеличенно много места. Это побочное обстоятельство немало способствовало ложному пониманию самого типа и затемнению вопроса о природе нигилизма.

„Если Базаров карикатура,—говорит Писарев, становясь в положение публики,—то объясните и представьте нам в настоящем свете то явление жизни, которое вызвало эту карикатуру, и покажите нам еще раз ту идею, которая породила это явление“. И он сам взялся за эту задачу, стараясь нарисовать „реалиста“ Базарова, как положительный тип. Но если ему, в силу психического сродства, удалось очистить тип нигилиста от шаржа, привнесенного Тургеневым, и если ему удалось дать догматическое изложение Базаровского мировоззрения, то он все же оказался бессилен объяснить исторически проиходящее, роль и задачи этого типа.

Кем был Базаров? Что породило его и создало его своеобразную психологию? Что дало ему ту непоколебимую силу воли и самоуверенность, столь поразившие Тургенева? Какую, наконец, роль сыграл коллективный Базаров в развитии русского общества?—Вот вопросы, ждавшие до сих пор исчерпывающего ответа. Не претендую на такой ответ, мы постараемся в дальнейшем коснуться этих вопросов в рамках поставленной настоящей статьей задачи.

Мы упомянули вскользь, что Базаровский нигилизм заполнил собой целое десятилетие. Действительно, с начала 70-х годов Базаровы исчезают из жизни русского общества, их заменяют новые люди, и самому же Тургеневу пришлось впоследствии дать характеристику (правда, далеко не удачную) такого нового человека в романе „Новь“ (Нежданов). Нигилизм надолго сходит со сцены, пока, наконец, не возрождается через пол-столетия, в совершенно другой обстановке и на совершенно другой социально-психологической подпочве. Этот новый нигилизм ярче всего сказался в романе „Санин“ Арцыбашева\*).

\* Санина и его автора много—и вполне заслуженно—ругали. Однако, полагая, что ему уже отпущена вся причитающаяся порция негодования, я рассматриваю в своей статье этот роман совершенно

По поводу этого романа тоже необходимо сделать ряд оговорок. Г. Арцыбашев, как художник, не может идти в сравнение с Тургеневым,—и, конечно, не претендует на это. Различие талантов, несомненно, оказывается на яркости и художественности образов. Но это же различие отразилось и на силе творческого обобщения. Тургенев писал портрет поразившего его человека с возможной об'ективностью; Базаров заинтересовал его, побудил к творчеству, но не вызвал в нем родственных, сочувственных отзывков. „Вот образ молодого поколения, с его плюсами и минусами“—говорил Тургенев читателю. Не так относится к Санину г. Арцыбашев. Его симпатия к герою романа несомненна, он идеализирует его. Он не просто изображает существующий тип, он еще наделяет его желательными для него, автора, чертами. „Вот каким должно быть молодое поколение“,—хочет сказать он. Вследствие этого, Санин „сочинен“, тогда как Базаров спланчен с натуры; Санин едва выдерживает свою роль и то лишь, благодаря доброте автора, позаботившегося о наиболее благоприятной для героя обстановке (физическая сила героя, тупость и пошлость контрагентов), Базаров же движется свободно и остается последовательным в силу внутренней логики; Санин социально иррационален и относится к типу ненужных, лишних людей, Базаров же необходим и понятен в экономии общественного развития.

И все-таки в основу Санинского типа автором положено то же реальное явление,—черты, появившиеся в последние годы в среде интеллигенции и успевшие сказаться в целом ряде литературных и общественных фактов. Шум, поднятый вокруг Санина, его редкий успех, заинтересовавший даже целомудренную цензуру, имеют свои достаточные основания. Если противники санинизма правы, упрекая автора в идеализации отрицательного типа, то сторонники его, хотя и не правы, но имеют веские данные усматривать в Санине обобщение своих тайных желаний, чувств и стремлений. Санин является выражителем современного нигилизма, как реакции против политических и этических норм, властвовавших над интеллигенцией в предыдущий период,—точно так же, как нигилизм Базарова был реакцией против мышления, чувствований и действований общества Кирсановых. Но ценность нигилизма не абсолютна, она определяется только путем сопоставления с конкретными условиями времени и места; и то, что в один исторический момент может быть полезным, прогрессивным, желательным, может в другой момент оказаться нежелательным, реакционным, вредным.

объективно, допуская, что автор—в рамках указываемых мною ограничений—использовал реальные черты происходящего на наших глазах движения.

Сопоставить нигилизмы Базарова и Санина с этой исторической точки зрения, посмотреть, не соединяет ли их внутренняя связь, вскрыть эту связь, а вместе с тем дать оценку каждому из этих явлений—вот задача, которая интересует нас в этой статье. А так как наиболее подходящим мы считаем метод социально-психологического анализа общественных формаций в их последовательной исторической смене, то нам придется остановиться на следующих трех вопросах:

1. Кем был Базаров?
2. Как развивалась интеллигенция от Базарова до Санина?
3. Кто такой Санин?

Это сопоставление Санина с Базаровым тем более интересно, что у них наблюдаются многие тождественные привычки, навыки, вкусы и взгляды, чего, конечно, нельзя обяснить простым подражанием. Очевидно, имеются какие-то общие, вернее, сходные причины, вызвавшие к жизни тогда—Базарова, теперь—Санина. Посмотрим.

### 1. Кем был Базаров?

„Мой дед землю пахал“,—не без гордости заявляет Базаров. Его дед был дьячком, его отец—уездный лекарь,—а последние в то барское время не пользовались уважением со стороны родовитых господ. „Лекарский сын“—фыркает на него Кирсанов-дядя. Когда он знакомится с отцом Аркадия, он протягивает „обнаженную красную руку“—перчатки, по-видимому, не принадлежали к обычным атрибутам его туалета. Лицо его было „длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и высячими бакенбардами песочного цвета, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум“. „Тонкие губы“. „Ленивый, мужественный голос“. „Белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа“. Из этих штрихов перед вами обрисовывается вдумчивое лицо человека умного, одаренного энергией и волей. Но вы напрасно искали бы хоть одной черточки, свойственной человеку холеной расы, аристократу или просто детищу сытой, обеспеченной жизни.

Базаров—парвеню. Базаров—человек из низших, „податных“ сословий. Базаров—разnochинец.

Это сразу почувствовали родственные ему по происхождению люди—„слуги привязались к нему, хоть он над ними подтрунивал; они чувствовали, что он все-таки свой брат, не барин“. Лакей Петр „ухмылялся и светел, как только Базаров обращал на него свое внимание; дворовые мальчики бегали за „дохтуром“, как собаченки“. Только

старый вышколенный дворовый, „аристократ“ Прокофьевич—более крепостник, чем все бары вместе, не выносил его.

Таким образом, Базаров был не только демократом по происхождению, но и демократом по навыкам, вкусам, замашкам. Это сказывалось даже в его манере говорить, столь раздражавшей Павла Петровича. „Он отвечал отрывисто и неохотно, и в звуке его голоса было что то грубое, почти дерзкое“.

„Личность человека, беспощадно и с полным убеждением отрицающего все, что другие признают высоким и прекрасным,—говорит по поводу „грубоści“ Базарова Писарев,—всего чаще вырабатывается при серой обстановке трудовой жизни; от сурового труда грубят руки, грубят манеры, грубят чувства; человек крепнет и прогоняет юношескую мечтательность, избавляется от слезливой чувствительности“. Базарову и, вообще, лицам этого типа приходилось проходить тяжелую школу жизни. Они выходили из непривилегированных классов—из мещанской, духовной, нередко крестьянской среды, вообще из малоимущей бесправной мелкой буржуазии. Они росли в обстановке труда и лишений, где некому и некогда было воспитывать их и обучать манерам. Благодаря отсутствию этих воспитательных влияний, Базаровым приходилось воспитываться на сыром материале жизни, и эта тяжелая школа самовоспитания развивала в них самостоятельность, веру в свои силы, энергию и волю. „Всякий человек сам себя воспитать должен,—горделиво заявляет Базаров,—ну, хоть, как я, например“.

В воспитании человека обыкновенно скрепчаются два фактора или влияния: с одной стороны, традиция, передаваемая непосредственными воспитателями в виде готовых понятий и суждений, с другой—прямое „эмпирическое“ влияние окружающей среды, „улицы“. Первый фактор, естественно, является охранительным, ибо он старается передать и увековечить миропонимание прошлых поколений; второй же фактор, в противоположность первому, можно назвать разрушительным, ибо непосредственное воздействие самой жизни неизбежно ведет к гибели всякой традиции. Оба фактора связаны обратной зависимостью: там, где искусственное воспитание (т. е. планомерное и целесообразное) преобладает, обыкновенно (хотя это логически и не обязательно) фактически устраивается влияние „улицы“; напротив, где это влияние сильно, там, по большей части, о воспитании в указанном выше смысле и говорить не приходится.

Два поколения, сопоставленные Тургеневым в его романе, расходились не только потому, что одни были—„отцами“, другие—„детьми“, сколько потому, что были представителями двух различных социальных положений,

столкнувшихся впервые; роль „отцов“ или „детей“ только обостряла их антагонизм. Кирсановы выросли в такой среде, где охранительные факторы—воспитание, традиция, сословные привилегии и предрассудки—играли громадную роль в жизни молодого поколения. Сословные перегородки отделяли эту среду от действительной жизни народных масс, и все изменения, происходившие в этой жизни, оставались незаметны, чужды и непонятны Кирсановым.

Совсем иначе росли Базаровы. В их среде тоже было много предрассудков, завещанных бедностью, невежеством, некультурностью, но эти предрассудки легко рассеивались при первом столкновении со знанием, а для Базаровых характерно было бегство из своей среды в погоне за знанием. Зато у них не было никакой традиции, передаваемой путем воспитания, у них не было вообще никакого воспитания. Их психика представляла почти *tabula rasa*, на которой жизнь записывала последние свои истины. Вот почему Базаровы были более восприимчивы к требованиям времени, вот почему на их психике не тяготели призраки прошлого. „Что касается до времени,—гордо заявляет Базаров,—отчего я от него зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня“. И оно, действительно, зависело от них, ибо они знали только настоящее время, а требования настоящего времени и их потребности—были понятия равнозначающие: текущая жизнь говорила их устами, они прокладывали пути этой текущей жизни. И в споре с Кирсановым-дядей Базаров был прав, когда говорил: „Вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно во мне случайно, что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете? Если Кирсановы были продуктом веков, то Базаровы были порождением последних десятилетий, а потому вернее и тоньше отмечали те перемены, которые произошли за эти десятилетия в народных низах.“

То обстоятельство, что Базаров был *homo novus*, человек без прошлого, без „биографии“, обусловливало еще одну характерную психическую черту, легшую в основу базаровской этики. Кирсановы, всасывавшие путем воспитания известные традиции, получали уже готовыми от своих „отцов“ некоторые моральные положения, общепринятые, освященные временем, обязательные. Это—пресловутые принципы или „принципы“ Павла Петровича. Этические положения обладают одним неудобством: рождаясь из определенной общественной потребности, в определенной обстановке времени и места, они быстро превращаются в правила, нормы, „принципы“, утрачивается представление об их генезисе, нередко теряется понимание их смысла и цели, но они продолжают передаваться по традиции из поколения в поколение.

Базаров избежал этой традиции. Правда, и он, вероятно, слыхивал в детстве, что честность есть почтенная добродетель, которая... и пр., но суть в том, что он уже в юношеские годы должен был отряхнуть прах родной среды от ног своих и воспитывать сам себя. Вместе с невежеством, мещанством, предрассудками этой среды он сбросил и ее мораль, ее „принципы“. Ему пришлось самостоятельно вырабатывать для себя руководящие положения, и он начал с того, что стал критически проверять все и всякие принципы. Но принципы не выдерживают обективной критики, ибо они претендуют на абсолютную обязательность, а критика вскрывает их относительную ценность. И вот Базаров стал нигилистом, т. е. человеком, „который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип“.

„Из этой школы труда и лишений Базаров вышел человеком сильным и суровым,—говорит Писарев—прослушанный им курс естественных и медицинских наук развил его природный ум и отучил его принимать на веру какие бы то ни было понятия и убеждения: он сделался чистым эмпириком; опыт сделался для него единственным и последним убедительным доказательством“. Базаров находился в стадии образования этических понятий; они у него не могли еще расходиться с его потребностями, с его ощущениями; они еще не могли вылиться в форму принципов, отделявшихся от живого человека с его живыми нуждами и тяготеющих над ним, как неумолимый и властный долг. В этом отношении весьма поучителен диалог между Базаровым и Аркадием Кирсановым, показывающий насколько недалеко ушел последний от традиционных воззрений „отцов“:

— Ты говоришь, как твой дядя,—сказал Базаров.— Принципов вообще нет—ты об этом не догадался до сих пор! А есть ощущения. Все от них зависит.

— Как так?—спросил Аркадий.

— Да так же. Например, я придерживаюсь отрицательного направления—в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен—и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки?—Тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу.

— Что ж? И честность—ощущение?

— Еще бы.

Базаров забыл только прибавить в пояснение Аркадию, что самые эти ощущения, в силу которых он любит химию и вообще является тем, что он есть, сложились в нем под

давлением жизни, что они этичны именно потому и постольку, поскольку не расходятся с направлениями и запросами времени. Эта психическая черта обусловливает ту цельность Базарова, которая не могла не поражать людей другого типа. Базаров — прирожденный монист, ибо единственным руководящим началом его мышления и деятельности являются его ощущения. И в этой борьбе за право следовать своими ощущениями закалилась его воля и создался тип борца.

Естественно, что этот сильный, умный, деловой человек должен был с глубочайшим презрением взирать на мир Кирсановых — безвольных, изнеженных трутней, питавшихся в силу привилегий трудом тех самых масс, из которых вышел он, Базаров.

„Пролетарий-труженик,—комментирует это отношение Писарев,— самым процессом своей жизни, независимо от процесса размышления, доходит до практического реализма, он за недосугом отучается мечтать, гоняться за идеалом, стремиться в идее к недостижимо высокой цели. Развивая в труженике энергию, труд приучает его сближать дело с мыслью, акт воли с актом ума. Человек, привыкший надеяться на себя и на свои собственные силы, привыкший осуществлять сегодня то, что задумано было вчера, начинает смотреть с более или менее явным пренебрежением на тех людей, которые, мечтая о любви, о полезной деятельности, о счаствии всего человеческого рода, не умеют шевельнуть пальцем, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить свое собственное, в высшей степени неудобное, положение“.

Эта черта, совершенно правильно указанная Писаревым, по крайней мере, относительно поколения Базаровых, объясняет весьма многое в истории нашей общественности, между прочим, тот разрыв между разночинцами 60-х годов и либералами 40-х годов, жертвой которого сделался и сам Тургенев.

Мелко-мещанская среда, из которой выходили Базаровы, отличалась одним весьма характерным свойством: она была неживучей, разлагающейся, обреченной на гибель средой. Ютиясь сначала между землевладельческим дворянством и крестьянством, сжатая впоследствии с третьей стороны народившейся крупной буржуазией, она не имела никаких перспектив, не имела простора для роста. В ней систематически образовалось „избыточное население“, которое должно было искать приложения для своих сил и пропитания на стороне. Но долгое время для ищущего разночинца были открыты лишь священство, да невысокие должности на государственной службе. Крепостническая дороформенная Россия пропускала его только в эти щели.

Лишь отдельные талантливые личности пробивали себе путь в литературу или в общественную деятельность.

Но к середине прошлого века, накануне пережитого русской общественностью кризиса, в среде разночинцев проявилось новое течение: „избыточное население“ потянуло к знанию, к образованию, в университеты. Предчувствие грядущего перелома подсказало разночинцу, что только на этом пути он может подняться выше стоячего болота мещанства, что только в этой области он может с успехом проявить свои силы. Экономия общественной жизни настоятельно требовала притока интеллигентных сил, а личное положение бездомного разночинаца толкало его на путь интеллигентного труда. Разночинец обручился со знанием. Он стал интеллигентом *par excellence*. Но, выйдя из суровой школы бедности и труда, воспитав себя на отрицании господствовавших в обществе гуманитарных наук и эстетики, он выдвинул в противовес им пользу, полезные знания, понимая под последним естественно-исторические науки. Он стал реалистом. Вот как определяет этот тип Писарев:

„Реалист—мыслящий работник; с любовью занимающийся трудом. Из этого определения читатель видит ясно, что реалистами могут быть в настоящее время только представители умственного труда“.

Таким образом, в лице разночинцев-реалистов впервые выступила на общественную арену интеллигенция, как массовое явление. Она принесла с собой те характерные, психические черты, которые неизменно сопутствовали ей, пока она выступала в роли самостоятельной общественной силы. Образовавшись путем отщепенства, отречения от родной среды, она принесла с собой иллюзию внеклассового и надклассового бытия. Выйдя из среды, из которой она не могла вынести никаких традиций, предоставленная своим собственным силам, обязанная всем своим положением только своим дарованиям и своему труду, она неизбежно должна была придать своей психике ярко-индивидуалистическую окраску. Мысль, благодаря которой разночинская интеллигенция только и могла проложить себе путь на поверхность общественной жизни и держаться на этой поверхности, естественно, стала ей казаться какой то абсолютной, все разрешающей силой. Разночинец-интеллигент стал ярым индивидуалистом и рационалистом. Сильнее всего оказались эти черты в первый период его деятельности, в 60-е годы, к которым и относится господство Базаровского типа.

Базаров появился на общественной арене еще до отмены крепостного права (у Тургенева он действует в 1859 г.). Что же застал он? С одной стороны, он видел „дрянь аристо-

кратишек", с другой—он убеждался, что „грубейшее суеверие нас душит“, что „все наши акционерные общества лопаются единственно от того, что оказывается недостаток в честных людях“, что „самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам в прок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке“. Базаров, как видите, мало расположен идеализировать мужика; этому препятствуют основные черты его психики—его эмпиризм, который не заглядывает в будущее, а живет только ближайшим днем, и его преклонение перед силой мысли, которое мешает ему учесть стихийную силу материальных интересов.

— Ты сегодня сказал,—говорит он Аркадию,—проходя мимо избы нашего старости Филиппа,—она такая славная, белая—вот, сказал ты, Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение и всякий из нас должен этому способствовать... А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который даже мне спасибо не скажет. Да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух рости будет; ну, а дальше?

Базаров хочет жить за свой счет, а не за счет Филиппа или Сидора. Либеральная маниловщина Аркадия во вкусе Генриха IV-го его ничуть не соблазняет. Его рационалистическая голова воспринимает образ мужика лишь в виде забитого, невежественного пьяного существа. Какую роль можно предоставить этому мужику там, где речь идет о вершинах знания? Мужику рядом с Базаровым приходится только „годить“. Вот как смотрит на массы *alter ego* Базарова—Писарев:

„При теперешнем устройстве материального труда, при теперешнем положении чернорабочего класса во всем образованном мире, эти люди не что иное, как машины, отличающиеся от деревянных или железных машин невыгодными способностями чувствовать утомление, голод, боль. В настоеющее время эти люди совершенно справедливо ненавидят свой труд и совсем не занимаются размышлениями. Они составляют пассивный материал, над которым друзьям человечества приходится много работать, но который сам помогает им очень мало и не принимает до сих пор никакой определенной формы. Это туманное пятно, из которого вырабатываются новые миры, но о котором до сих пор решительно нечего говорить... Самый реальный труд, приносящий самую осозательную и неоспоримую пользу, остается вне области реализма, вне области практического разума, в тех подвалах общественного здания, куда не проникает ни один луч общечеловеческой мысли. Что же нам делать с этими подвалами? Покуда

приходится оставить их в покое и обратиться к явлениям умственного труда, который только в том случае может считаться позволительным и полезным, когда прямо или косвенно клонится к созданию новых миров из первобытного тумана, наполняющего грязные подвалы".

А сам Базаров прибавляет к этому своим лениво-небрежным тоном:

— Странное существо человек. Как посмотреть этак скобку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь „отцы“, кажется: чего лучше? ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. А н нет; тоска одолевает. Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними.

Если вдуматься в эти цитаты, в них можно прочесть скрытые зачатки всего того грандиозного движения русской интеллигенции, которое, развиваясь и расти, ушло, казалось, так далеко от нигилизма. И все же оно находится в органической связи с Базаровицей, хотя некоторые черты этой последней прямо противоположны характерным чертам позднейшего „народолюбия“. Базаровский индивидуализм, как видно из приведенных цитат, не был эгоистичным, он был пропитан общественными интересами („Общая польза“ Писарева). Но в обстановке конца 50-х и начала 60-х годов Базаровы, как мы видим, были отрезаны от массы и обречены на деятельность среди интеллигенции. К этому поощряла их безграничная вера в силу интеллекта и в спасающее значение знания. Они, по необходимости, стали просветителями.

— Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным,—промолвил Базаров,—в теперешнее время полезнее всего отрицание,—мы отрицаем...

— Все?

— Все.

— Как? Не только искусство, поэзию... но и... страшно вымолвить...

— Все,—с невыразимым спокойствием повторил Базаров.

— Однако, позвольте,—заговорил Павел Петрович.—Вы все отрицаете или, выражаясь точнее, вы все разрушаете. Да ведь надо же и строить.

— Это уж не наше дело... Сперва нужно место расчистить.

— Мы ничего не проповедуем, это не в наших привычках,—говорит в другом месте тот же Базаров.

Как же проявляют себя нигилисты? Какими путями воздействуют они на окружающее общество? На это дает ответ Писарев: „Пусть каждый человек, способный мыслить и желающий служить обществу, действует собственным примером и своим непосредственным влиянием в том самом

кружке, в котором он живет постоянно, и на тех самых людей, с которыми он находится в ежедневных сношениях<sup>4</sup>. Дальше этого Базаровщина не пошла. В конституционной свободной стране она создала бы радикальное мелко-буржуазное течение; у нас же она была отброшена в сторону социализма, и мирное просветительное направление быстро было вытеснено новым направлением, родственным ему в смысле социального генезиса, но скоро покончившим с его только просветительством. Тургенев уверял в письме к Случевскому, что Базаров—революционер. Это верно лишь *in potentia*, лишь постольку, поскольку русская действительность заставила Базарова превратиться в революционера.

Подводя итог, мы можем сказать, что Базаров был ранним представителем разночинской (мелко-буржуазной) интеллигентии того периода, когда она во всеоружии мысли и воли готова была силой знания создать новые миры из туманности народной массы.

## ✓ 2. От Базарова до Санина.

Итак, Базаров—просветитель; но Базаров и—революционер. Это противоречие разрешается диалектически, ходом развития жизни. Возможность развития просветителя в общественного деятеля была намечена еще Писаревым в его известной статье о Базарове:

„Из Базаровых—пишет он здесь,—при известных обстоятельствах вырабатываются великие исторические деятели; такие люди долго остаются молодыми, сильными и годными на всякую работу... Когда жизнь серьезно шевельнет их мозговые нервы, тогда они бросят микроскоп и скальпель, тогда они оставят недописанным какое-нибудь ученнейшее исследование о костях или перепонках... Базаров—человек жизни, человек дела, но возьмется он за дело только тогда, когда увидит возможность действовать не машинально. Его не подкупят обманчивые формы, внешние усовершенствования не победят его упорного скептицизма; он не примет случайной отступни за наступление весны и проведет всю жизнь в своей лаборатории, если в сознании нашего общества не произойдет существенных изменений. Если же в сознании, а, следовательно, и в жизни общества произойдут желаемые изменения, тогда люди, подобные Базарову, окажутся готовыми, потому что постоянный труд мысли не даст им залениться, залежаться и заржаветь, а постоянно бодрствующий скептицизм не позволит им сделаться фанатиками специальности или вялыми последователями посторонней доктрины.“

„Кто решится отгадывать будущее и бросать на ветер гипотезы?—спрашивает Писарев—Кто решится дорисовать

такой тип, который только что начинает складываться и обозначаться и который может быть дорисован только временем и событиями?»

Писарев, как и Базаров, был рационалистом. Ему казалось, что излюбленный им Базаровский тип представляет собой прочное общественное явление и что ближайшему будущему останется только закончить, „дорисовать“ его образ. На самом же деле Базаров был лишь ранней, переходящей фазой в развитии разночинской интеллигенции. После короткого периода чистой Базаровщины разночинская интеллигенция вынуждена была эволюционировать. Исходным пунктом этой эволюции явились два „ощущения“, чтобы не сказать принципа, Базарова: „общая польза“ и потребность „возиться с людьми“. Эти два момента в приложении к русской действительности очень скоро заставили разночинца бросить лягушек и заняться политикой. Мы не можем здесь подробно останавливаться на длинной смене поколений и настроений от Базарова до Санина—это нас завело бы слишком далеко. Ограничимся лишь краткой схемой этого развития.

Базаровы могли утверждать, что они „ничего не про- поведуют“ лишь до тех пор, пока их было „всего четыре человека с половиной“, по словам Павла Петровича. Сам Базаров мог на это ядовитое замечание лишь скромно ответить: „Нас не так мало, как вы полагаете.“ Но когда интеллигент-разночинец хлынул большой массой на общественную арену, когда он заполнил собой университеты, литературу, журналистику, когда она стала, благодаря своей молодости, честности и искренности, самой крупной интеллектуальной силой в обществе, наконец, когда он почувствовал, что на него с надеждою взирают тысячи и тысячи подрастающих разночинцев,—тогда ему трудно уже было замыкаться в своем личном „я“.

„Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться“—еще сильнее, чем Базаров, почувствовал теперь разночинец. И он начал „возиться“, хотя, верный заветам Писарева, сначала не выходил за пределы „представителей умственного труда“. Но тут ему тотчас же пришло на- ткнуться на внешние препоны, „тачившие“ его назад и „не пущавшие“ к знанию. Каждая попытка выбраться самому и помочь другому выбраться из невежества, создать себе миропонимание не по установленным прописям, подойти с критической мыслью к существующим установлениям—вызывала бешеный вопль со стороны реакционных элементов и „меры предупреждения и пресечения“ со стороны власти. Интеллигент-разночинец скоро убедился, что ему и шагу не ступить, не сломив стесняющей его преграды.

Но—индивидуалист по самочувствию и рационалист по мышлению—он не мог, разумеется, об'ективно исследовать скрытые пружины развития общества, наметить направление этого развития, учестьдвигающие его силы и опереть на них свою борьбу. Да и сама жизнь не помогала в этом разночинцу. Ему оставалось чисто рационалистическим путем составить алгебраическое уравнение, в которое он подставил, по мере своего разумения пригодные для его цели величины. А такими величинами были: заботность и бедность крестьянских масс, торжество имущих классов, общее политическое бесправие. Неудивительно, что решение этого уравнения приводило к анархическим формам протesta и борьбы (нечаевщина, бунтарство и т. д.). Оторванная от народных масс, самодовлеющая разночинская интеллигенция, берущаяся на свой страх перестроить общество, только и могла притти к такому решению.

Крушение этих приемов борьбы привело интеллигенцию к сознанию своего бессилия и своей беспомощности. Она поняла, что своими силами ей не перестроить общества, что для этой цели необходимо пробудить и просветить громадную массу крестьянства, которую, главным образом, и должен был очастливить переворот. Не малую роль играла здесь реакция против предыдущего периода, толкнувшая интеллигенцию от непосредственной политической борьбы к мирной пропаганде среди масс.

История этого „хождения в народ“ достаточно известна. После доброго десятилетия она закончилась полным разочарованием: более последовательная и революционно мыслящая часть интеллигенции бросилась в рискованную террористическую борьбу, возвратясь, таким образом, к прежним приемам, знатительная же часть успевшей обесцветиться интеллигентской массы отреклась от политики, ушла в „культурную“ работу, приведшую ее к полному опошлению (восьмидесятые годы, толстовщина, чеховщина).

Мы не будем останавливаться на частностях этого развития; отметим только некоторые социально-психологические черты, имеющие важное значение. Разночинская (мелко-буржуазная) интеллигенция встретилась в своем развитии с другим течением, шедшим с ней по пути и к той же цели, но из другого источника. Это было так называемое „кающееся дворянство“. Это течение, шедшее нередко, особенно в первое время, на поводу у разночинства (напр., Арк. Кирсанов у Базарова), привнесло в среду революционной интеллигенции некоторые своеобразные психические черты, которыми оно было обязано своему происхождению. Освободившись логически от воззрений и понятий дворянства, „кающиеся“ не могли психологически освободиться от

некоторых отрицательных черт родной среды. Слабость воли, склонность к идеализации и иллюзиям, расплывчатое, альтруистическое „прекраснодущие“, тяготение к морали, к императиву долга, наконец, несколько барская мягкость и жалостливость чувств—вот тот отрицательный багаж, который внесли „кающиеся“ в интеллигентское движение. И хотя разночинец противопоставил им сильную волю, холодный реализм, жесткую беспощадную критику и суровую деловитость, все же они не замедлили подкрасить все течение и своими тонами.

Борьба этих двух союзных психологий красной нитью проходит через всю историю русской интеллигенции. В моменты особенного подъема и обострения борьбы разночинская психология брала верх и легко подчиняла себе неустойчивую психологию „кающихся“. Но стоило только понизиться напряженности борьбы, стоило только наступить моменту затишья или хотя бы заминки—и дряблая психология „кающихся“ отчетливо выступала вперед, как проступает в осенне время сырость на стенах дома.

К началу восьмидесятых годов—времени крушения революционного разночинства—различие между обоими указанными течениями значительно сгладилось. Наиболее яркие представители разночинства систематически выхватывались из рядов борцов, неудачи и поражения разочаровывали многих, заражая их пессимизмом и апатией, свойственными другому течению. По мере упадка движения разночинная и „кающаяся“ интеллигенция уходила от тех угнетенных масс, с именем которых она связывала свою деятельность, и замыкалась в личную жизнь, служа этим косвенно буржуазии. В этот период стал наглядно оказываться мелко-буржуазный характер этого течения. Нечего прибавлять, что все растущие кадры интеллигенции шли открыто на службу к господствующим классам.

С другой стороны, и сама мелко-буржуазная среда перестала уже вырабатывать цельных, несгибаемых Базаровых. С течением времени русское общество волей-неволей демократизировалось. Различия между общественными классами в правовом отношении стали меньше, интеллигенция, в ряды которой шло „избыточное население“ мелкой буржуазии, уже не представляла того чудища, о котором Кирсановы пренебрежительно спрашивали: „кто сей?“, а, напротив, занимала почетное положение в обществе. Теперь уменьшились в значительной степени те противоречия, которые обусловливали резкость и цельность базаровских черт. Разночинцу нечем было питать свою непримиримость и социальную ненависть. У нас еще не создалось перепроизводства интеллигентов, как на Западе; перед интеллигентом была открыта широкая

дорога. Чтобы всосать в свою психику элемент непримириимости и социальной ненависти, разочинец-интеллигент должен был брать их из другой среды,—из среды угнетенных и обездоленных классов. Он должен был любить и ненавидеть, страдать и радоваться, бороться и торжествовать не за свой счет, не за счет породившей его среды, а за счет совершенно постороннего ему класса.

Из этого условия логически вытекало два положения: во-1-х, сколько-нибудь широкое участие интеллигенции в жизни, страданиях и борьбе такого постороннего класса зависело от того, в какой мере ее личные интересы—например, политические—совпадали с аналогичными интересами этого класса; во-2-х, полный переход интеллигентов на сторону такого класса, независимо от такого совпадения интересов, предполагал полное отречение их от идеологии, психологии и интересов той среды, из которой они выходили. А это, разумеется, могло быть количественно лишь ограниченным явлением.

Когда в начале девяностых годов на общественную арену выступил новый класс—пролетариат, выдвинувший наряду со своими социальными требованиями и требование политической свободы, он встретил в среде интеллигенции самый сочувственный прием. Увлечение идеологией пролетариата—марксизмом,—быстро росло, побеждая старые интеллигентские кумиры, и могло казаться, что марксизм выражает интересы не рабочего класса, а как раз этой интеллигенции. Только систематическое отпадение от марксизма отдельных влиятельных лиц или групп (ревизионизм, идеализм) указывало на то, что под флагом марксизма провозится и контрабандный товар.

Наиболее ярким подтверждением нашего первого вывода было повальное увлечение социал-демократией (на этот раз даже не марксизмом, а прямо социал-демократией) нашей радикальной интеллигенции в первый год революционного движения. Политическая борьба, шедшая под знаком пролетариата, жажда политической свободы и кажущаяся близость ее осуществления ощущались так интенсивно, что интеллигенция готова была пойти за кем угодно, хоть за босяками (ведь был же период увлечения интеллигенции босячеством!), если бы только они подавали надежду на победу. Практическое совпадение интересов (политических) интеллигенции и пролетариата казалось ей настолько полным, что она охотно рядилась в тогу социал-демократизма.

Но пролетариат не оправдал ее надежд. Он не дал ей политической свободы. Этим он потерял в ее глазах весь свой ореол, и она с негодованием и презрением отвернулась от него. И чем неудержимее было увлечение в момент подъема,

тем беззастенчивее было отречение в момент упадка. Опамятившись после революционного угаря, интеллигенция предала анафеме не только социал-демократию, не только революцию, но и политику вообще, ту самую политику, которая составляет один из существеннейших ее интересов. Вместе с водой выплынула она из ванны и ребенка.

Этот период политической реакции в среде интеллигенции мы еще переживаем и в настоящее время. Он весьма ярко и характерно сказался в любимой области интеллигенции — литературе. И одним из наиболее ярких и характерных выразителей его явился г. Арцыбашев в своем романе „Санин“ — и это потому, что в образе своего героя он дал квинт-эссенцию этих реакционных настроений среди интеллигенции, нарисовал этот образ гораздо более егущенными красками, чем дает действительность. Роман от этого потерял в художественном отношении, но зато он дал публицисту богатую пищу. После полувековых скитаний разночинец-интеллигент, говорят нам, стал Саниным. „Как дошел он до жизни такой“ — это мы видели. Посмотрим же теперь, что это за „такая“ жизнь.

### 3. Кто такой Санин?

Что за тип представляет собой Санин? В нашем разборе мы постараемся по возможности проводить параллель между Саниным и Базаровым, так как эта параллель после всего сказанного нами крайне поучительна.

Подобно Базарову, Санин не знал никаких воспитательных влияний: он тоже „воспитывал сам себя“.

„То самое важное в жизни времена, — говорится в романе Арцыбашева, — когда под влиянием первых столкновений с людьми и природой слагается характер, Владимир Санин прожил вне семьи. Никто не следил за ним, ничья рука не гнула его, и душа этого человека сложилась свободно и своеобразно, как дерево в поле“<sup>\*)</sup>,

Мы видим, таким образом, что Арцыбашев ставит себе ту же психологическую и эстетическую задачу, что и Тургенев: нарисовать тип человека, свободного от традиций, от предрассудков, от установленной морали, вообще от „принципов“ существующего общества — тип отрицателя, вошедшего в это общество как бы извне. Но сразу же обнаруживается разница в постановке вопроса у обоих авторов. Оторванность Базарова, его „внешнее“ происхождение было несомненным историческим фактом. В лице Базарова в существующее

<sup>\*)</sup> Курсив, как и в дальнейшем, мой, — П. О.

общество вступил действительно „извне“ из совершенно другой среды новый тип—разночинец-интеллигент. В то же время этот тип вырос в такой обстановке, где, действительно, о воспитании не могло быть и речи, где он на самом деле сам себя воспитывал.

Не то Санин. За спиной героя арцыбашевского романа не стоит никакой новый общественный слой с своеобразными чуждыми господствующим классам общества условиями жизни \*). Из романа мы видим, что Санин происходит из интеллигентной семьи, и, если в этой семье небрежно или плохо воспитывали детей, то это индивидуальный факт, а не сколько-нибудь широкое общественное явление. Самовоспитание Санина—простая случайность, привнесенная автором для более легкого доказательства своих мыслей.

Базаров—живая историческая личность; Санин—плод художественной фантазии автора. Вот первое сходство и первое различие между двумя героями.

Подобно Базарову, Санину пришлось тоже немало биться в годы юности перед тем, как мы встречаемся с ним в романе. Он рассказывает матери и сестре, „как жизнь бросала его из стороны в сторону, как много приходилось ему голодать, бродить“...

„Жил он, где придется, делал, что придется, то работал, то слонялся без цели, повидимому, любил пить и много знал женщин...—узнаем мы в другом месте.—Общей идеи в его жизни не было, никого он не ненавидел и ни за кого не страдал“.

И, здесь, несмотря на сходную внешность скитальческой жизни, проскальзывает коренное различие между ним и Базаровым. Вся жизнь Базарова проникнута потребностью труда и жаждой знания. Мы уже отметили выше, что Базаров, как и его защитник—Писарев, были фанатиками знания. Знание давало им лично наивысшее наслаждение, знание же было той панaceaей, которая должна возродить и перестроить человеческое общество. Напротив, для Санина весьма характерно, что на протяжении всего романа автор только один раз заставляет его взять в руки книгу—и что бы вы думали?—„рассказ о том, как трагически одиноко умирал старый архиерей, окруженный людьми, поклонением и кадильным дымом, облаченный в золотые ризы, бриллиантовые кресты и всеобщее уважение“. Правда, наряду с Саниным Арцыбашев выводит дополнительный тип нигилиста-начетчика Иванова, который якобы прочел „массу книг“,—но этот начитанный санинист пришел только к отрицанию

\*.) Предшествовавшая эпоха, напротив, уравняла образованные классы, увеличив пропасть между ними и трудящейся массой.

знания. На всякую ссылку на новую теорию у него есть только один презрительно-пессимистический ответ: „слыхали!“ Базаров некогда посоветовал Аркадию дать старику Кирсанову для чтения „Силу и материю“ Бюхнера; Писарев признавал популяризацию научных знаний главной задачей молодого поколения. Сравните с этим следующий диалог между Саниным и Юрием Сварожичем:

— Неужели вы думаете серьезно, что по каким бы то ни было книгам можно выработать в себе какое то миросозерцание?

— Конечно,—удивленно посмотрел на него Юрий.

— Напрасно,—возразил Санин.—Если бы это было так, то можно было бы все человечество преобразовать по одному типу, давая ему читать книги только одного направления.

Эта полная противоположность во взглядах Базарова и Санина весьма характерна, как начало и конец известного процесса, пережитого на протяжении полутора столетия разночинской интеллигенцией. Вступая на поприще общественной деятельности, эта интеллигенция принесла с собой неограниченную веру в силу мысли, и эта вера в течение долгих лет питала ее жизнь и борьбу. Но, изверившись со временем во всеразрешающей силе мысли, она с той же прямолинейностью рационализма развенчала свой кумир, бросившись из одной крайности в другую.

Санин отрицает влияние книг, он отвергает всякие гипотезы, считая, что „глупо“ на основании их строить свою жизнь, он живет без „общей цели“. Мало того, он, вообще, отрицает всякие „конечные цели“ и всякие средства к их достижению. „Золотого века никогда не может быть, — говорит он.—Если бы жизнь и люди могли улучшиться мгновенно, это было бы золотое счастье, но этого быть не может!“ Так же пессимистично смотрит он и на попытки перестроить человеческие отношения. Его мнение по этому вопросу весьма недвусмысленно и безапелляционно:

— Человек стоит на вечном пути,—доказывает он,—и мостить путь к счастью все равно, что к бесконечному числу присчитывать новые единицы.

— Значит, все пустота? Значит, „ничего“ нету?

— Я думаю: ничего.

При таком мировоззрении Санин, естественно, не может обладать социальными инстинктами. Он индивидуалист *pur sang*. Базаров тоже был индивидуалистом, но мы уже отметили, что его индивидуализм опирался на признание и преследование „общей пользы“. Напротив, индивидуализм Санина чисто-эгоистического характера. Оба они высказывают сходные слова по поводу мотивов своей деятельности и критерия своих жизненных оценок; но за этими сходными

словами кроется неизмеримое различие. Базаров действовал „в силу ощущений“, отвергая „принципы“. Санин тоже пре-небрежительно относится к принципам. „Моя жизнь,—говорит он,—это мои ощущения приятного и неприятного, а что за пределами—чорт с ним!“

Вся сущность различия между обоими типами и заключается как раз в реальном содержании и в направлении их ощущений. И Тургенев и Арцыбашев стремились дать типы людей безусловно искренних, а потому их поступки, равные их ощущениям, являются лучшим показателем того, какова психика обоих героев, а, следовательно, и каковы те социальные условия, которые создали эту психику. Санин в одном месте делает довольно характерное замечание: „Мироизрение не теория жизни, а только настроение отдельной человеческой личности и притом до тех пор изменяющейся, пока у человека еще жива душа... А следовательно,—умозаключает он,—и вообще не может быть того определенного мироизрения, о котором вы так хлопочете“...

Эта софистическая фраза весьма интересна в смысле выяснения санинской психологии. Что в основу мироизрения, т. е. логического об'яснения мирового процесса, ложится настроение, понимая под последним психику, это несомненно. Но соль в том, что у известных общественных образований (а также у отдельных личностей, входящих в них) данное настроение является длительным, постоянным. У других же, и особенно в известные исторические моменты, настроение весьма неустойчиво, быстро меняется под влиянием внешних фактов, а потому и приводит к быстрой и легкой перемене мироизрения. Причины устойчивости или неустойчивости настроений и мироизрений кроются в глубоких основах человеческого общежития. Психика лиц и групп определяется всем складом их жизни и быта, а в составе последних доминирующую роль играют в большинстве случаев материальные интересы, способы приобретения благ жизни. Прочность и устойчивость этих интересов определяет прочность и устойчивость психики, а тем самым прочность и устойчивость мироизрения.

Поэтому вполне естественно, что наименьшей устойчивостью настроений и мироизрения отличаются те общественные группы, которые не связаны непосредственными, прочными интересами с процессом общественного производства, которые работают в области „надстроек“, не создают материальных благ жизни, кормятся от доходов других классов. Такими качествами отличается как раз та группа, которая известна под собирательным названием интеллигентии.

Мы проследили выше развитие нашей разночинской интеллигенции от Базарова до революционного периода; эта интеллигенция была бессильна сложиться в самостоятельный класс со своими определенными интересами, она последовательно переходила от защиты интересов одного класса к защите интересов другого, от одного миросозерцания к другому. Накануне революции мы видели ее апатичной, пессимистичной, проникнутой чеховским настроением. Оживившееся общественное движение снова как будто бодрит ее. Она начинает принимать деятельное участие в политической борьбе, организуется, горячится, шумит. Наступает бурный 1905 г. Разночинская интеллигенция с нервозностью, свойственной группам, не связанным прочными производственными интересами, бросилась, очертя голову, в водоворот борьбы вплоть до политических забастовок, вплоть до участия подчас в баррикадной борьбе... и это лишь для того, чтобы после первых же неудач бежать с поля брани, отречься от собственных увлечений, предать анафеме те самые „экспессы“, о которых она кричала прежде с наибольшим жаром\*).

Началась реакция против „крайностей“, против „революционизма“, против партийности, вообще, против политики. Растверявши за эти годы весь свой поношенный багаж, интеллигенция вдруг захотела зажить полной жизнью, вкусить от наслаждений мира сего. Обязательному альтруизму предшествовавших поколений противопоставили „естественный“ эгоизм; их социализму—индивидуализм; их понятию долга—свободу личности; их идею общественного блага—личное счастье. В этой атмосфере реакции против служения обездоленным классам возникли те взгляды, запросы, понятия, которые положены в основу санинского типа.

Из отрывочных сведений относительно биографии Санина мы узнаем, что и он пережил не мало превращений. „Было время,—рассказывает он,—когда я сам серьезно мечтал об идеале христианского житья“. Это был период увлечения толстовцем Ланде (в истории русской интеллигенции тоже есть такой период). Однако, Санин, по его словам, вскоре „стал яснее смотреть на его жизнь и увидел, что она страшно несчастна и бедна!“ В другом месте мы узнаем, что он „принимал рискованное участие в политической борьбе“; но и это увлечение миновало, и он „бросил это дело, когда оно ему надоело“. И тогда Санин стал тем „естественному“ человеком, каким он себе кажется.

\*) Похождения нашей интеллигенции в период 1904-1907 г.г., ее расслоение, ее крайности весьма поучительны для социологического знакомства с характером этого слоя. «Doch steht's in einem andren Buch und ist ein sonderbar Kapitel». Здесь наше внимание сосредоточено на другой теме.

Как бы ни были „естественны“ в смысле самобытности и самовоспитания Базаров и Санин, их ощущения далеко не произвольны, а зависят от вполне определенных причин, а потому и сами вполне определенного порядка. Подобно тому как музыкальный человек особенно восприимчив к звуковым ощущениям, а человек с притупленным слухом, напр., гаршинский „Глухарь“, почти совсем лишен возможности воспринимать эти ощущения, так и каждый из рассматриваемых нами типов легче всего воспринимает и фиксирует те ощущения, к которым он предрасположен или по отношению к которым не притуплены его чувства. Другими словами, в самую основу наших восприятий положено все то же „настроение“, психика, а, следовательно, и вся та социальная подоплека психики, о которой мы говорили. Субъективно человек сознает свои ощущения свободными и произвольными, обективно же они определяются всей его жизненной обстановкой.

Базаров воспитал себя на противопоставлении труда и знания барскому безделю и эстетике. Его психика сложилась так, что в нем не возникало ощущений, характерных для „отцов“; его ощущения были нового порядка—они, как мы видели, подсказывались потребностями нового демократического общества. Таковым было его ощущение, вызывавшее характерное для Базарова действенное отрицание, таковым же было и то ощущение, в силу которого ему хотелось „с людьми возиться“. Базаров представлял молодость разночинской интеллигенции, его задор происходил от полноты и избытка сил, перед ним открывалась бесконечная перспектива плодотворного труда. Он был родоначальником самостоятельного интеллигентского движения.

Иначе складывалась психика Санина и другим ощущениям открывала она простор. Санин, в противоположность Базарову, появился на свет после целого ряда интеллигентских поколений, как продукт длинной истории интеллигенции, появился в момент разочарования этой интеллигенции во всей ее полувековой деятельности, в момент бегства от общественного служения в личную жизнь. В основу его настроения легло это отрицание прошлого, сделав его душу способной переживать только эгоистические ощущения, сузив ее отзывчивость и емкость до тесных пределов личного довольства.

— Я знаю одно,—говорит он,—я вижу и хочу, чтобы жизнь не была для меня мучением. Для этого надо, прежде всего, удовлетворить свои естественные желания... Желание это все: когда в человеке умирают желания—умирает и его жизнь, а когда он убивает желания—убивает себя.

— Но желания могут быть злыми?

— Может быть.

— Тогда как?

— Так же,—ласково ответил Санин и посмотрел в лицо Юрия светлыми, немигающими глазами.

И в этом ответе, сопровождаемом „немигающим“ взглядом, опять оказывается неизмеримое различие между Саниным и Базаровым. „И честность—ощущение?“—спрашивал Аркадий Базарова. „Еще бы!“—ответил Базаров. То же самое ответил бы и Санин, но дело в том, что Базаров в силу своих ощущений мог быть только честным, санинские же ощущения не различают честности и бесчестья. Честность в общественных отношениях—это соображение „общей пользы“, а мы знаем, что оно играло решающую роль в утилитарной морали Базарова. Мораль же Санина основывается на личной пользе (вернее, наслаждении), а перед этим критерием различие между честностью и бесчестием утрачивает всякий смысл. Поэтому Санин вполне последовательно приходит к тому выводу, что „естественному“, т. е. свободному от предрассудков, человеком может быть только нравственно или физически невменяемая личность.

— По моему, — говорит он в одном месте,—только пьяный человек и живет, как следует... пьяный делает только то, что ему хочется... хочется ему петь—поет, хочется танцевать—танцует, и не стыдится своей радости и веселья.

В другом месте Санин так же сочувственно высказывает про мерзавцев.

„Он (мерзавец) делает то, что для человека совершенно естественно. Он видит вещь, которая ему не принадлежит, но которая хороша,—он ее берет; видит прекрасную женщину, которая ему не отдается, он ее возьмет силой или обманом. И это вполне естественно, потому что потребность и понимание наслаждений и есть одна из немногих черт, которыми естественный человек отличается от животного. Животные, чем больше они—животные, не понимают наслаждений и не способны их добиваться. Они только отправляют потребности. Мы все согласны с тем, что человек не создан для страданий, и не страдания же идеал человеческих стремлений... Человеку от природы не свойственно воздержание, и самые искренние люди—это люди, не скрывающие своих вожделений, т. е. те, которых в общежитии называют мерзавцами“.

Если бы Базаров выслушал эту тираду, он, вероятнее всего, повернулся бы спиной к говорящему и попал бы резать лягушек. А если бы и снизошел до беседы с Саниным, то объяснил бы ему, во-1-х, что он невежда, ибо животные не хуже его „понимают наслаждение“, а он не лучше животных „отправляет потребности“, а, во-2-х, что интеллек-

туальная деятельность способна давать не менее высокое наслаждение, чем прикарманивание чужих вещей или насилиование красавиц. Кроме того, Базаров мог бы указать Санину, что можно отстаивать свою свободу и беречь святость своей личности, вовсе не сводя своей деятельности к одним элементарным физиологическим направлениям и не базируя этой индивидуальности на таком случайном факторе, как физическая сила.

В самом деле, если вы внимательно прочитаете роман Г. Арцыбашева, вы увидите, что Санин много ест, еще больше пьет, говорит не мало по большей части совершенно ненужных грубостей, больно дерется и артистически соблазняет красивых женщин. Дальше этих запросов он не идет, и даже те радужные перспективы, которые ему грезятся в будущем (Санин достаточно непоследователен, чтобы, вопреки своим же словам, рисовать себе „золотой век“), не ведут к расширению его потребностей.

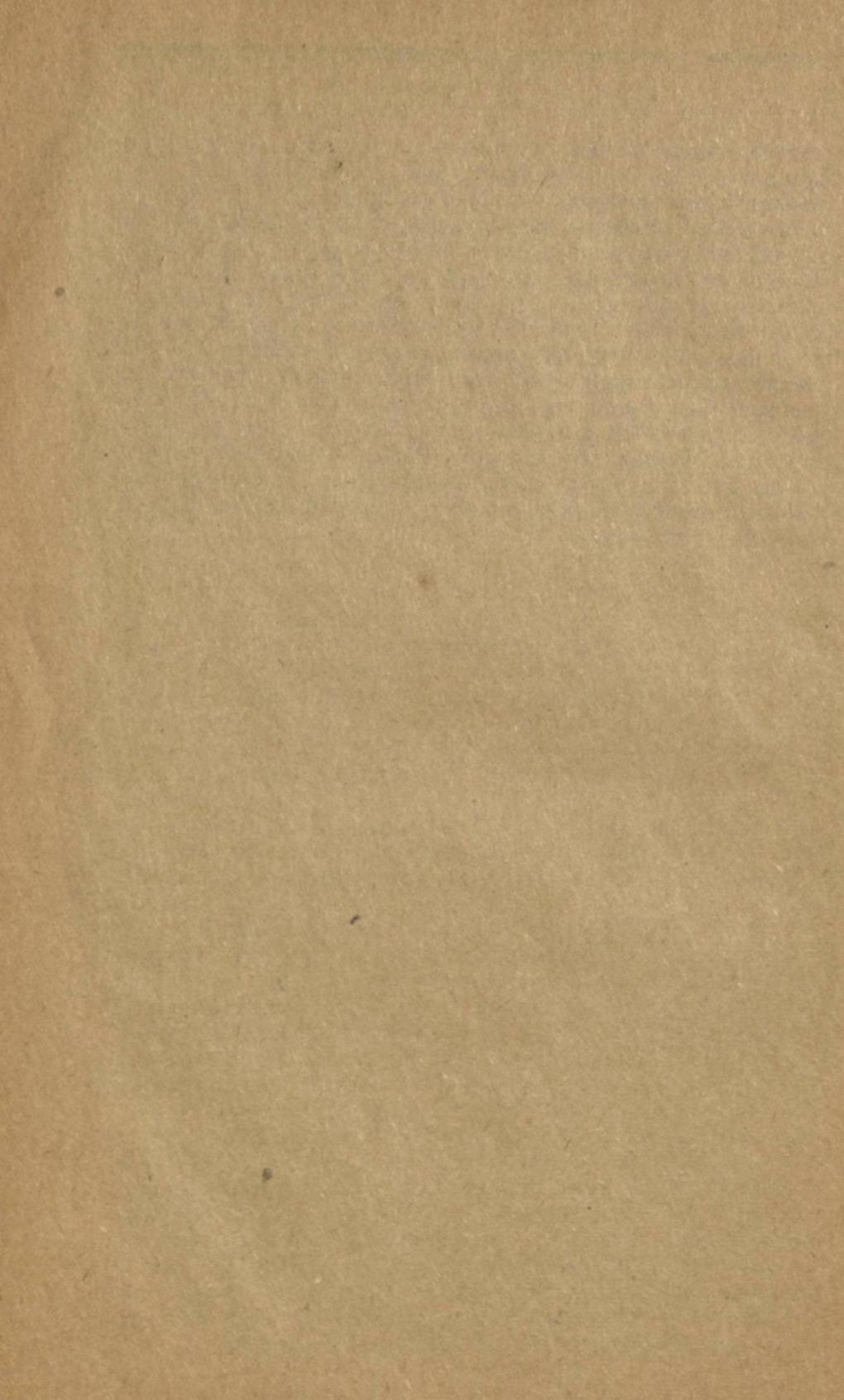
„Мне все грезится счастливое время, — говорит он, — когда между человеком и счастьем не будет ничего, когда человек свободно и бесстрашно будет отдаваться всем доступным ему наслаждениям... Та эпоха, когда люди жили только животом, была варварски грубой и бедной,—наша, когда тело подчинено духу и сведено на задний двор, бессмысленно слаба. Но человечество жило не даром: оно выработает новые условия жизни, в которых не будет места ни зверству, ни аскетизму“.

Психология и этика Санина, думается, достаточно ясна из приведенных цитат. Теперь посмотрим, чем является Санин, как общественный тип, и какова его роль в процессе превращений общества.

Мы уже указывали вскользь, что Санин не есть живой, реальный тип, он, так сказать, тип конструктивный, какими изобилует тенденциозная литература. Автор собрал воедино ряд черт, характерных для происходящего в среде интеллигентии поворота, и, суммируя их, создал тип, который в таком виде в действительности не встречается. Сумма же санинских черт означает отказ от полувековой традиции разночинской интеллигентии и прежде всего отказ от служения угнетенным классам — в общественной жизни, отказ от императива долга — в личной. У массы этой интеллигентии давно уже „принципы“ разошлись с „ощущениями“, ее давно тяготила традиционная общественная и личная мораль. На короткий миг эти противоречия, казалось, стерлись под влиянием общественного подъема, но лишь с тем, чтобы потом снова вспыхнуть еще резче, на этот раз, повидимому, бесповоротно — и привести к окончательной ликвидации. Откращиваясь от своего прошлого, эта

интеллигенция окончательно уходит от трудящихся масс, с которыми она—фактически или формально—была связана в течение десятилетий. Но в капиталистическом обществе, каковым уже стало и с каждым днем все больше становится русское общество, уход от трудящихся классов неизбежно приводит в обятия классов господствующих, буржуазии. И как бы радикальными ни казались Саниным их воззрения, сколько бы ни рядились они в тогу анархизма, какие бы крепкие словечки ни метали по адресу того, что „жило чужой кровью“, их появление в конце концов означает лишь новый шаг разночинской интеллигенции в сторону буржуазии. Сейчас это кое-кому может показаться парадоксальным, но пусть уляжется волнующаяся стихия переживаемого момента, и сегодняшний парадокс станет очевидным для всех фактом.

---



ЛИШНИЕ ЛЮДИ



## Лишние люди.

Nur der verdient sich Freiheit  
wie das Leben,  
Der täglich sie erobern muss.  
Faust, II Theil.

### I.

Могучим потоком движется жизнь все „вперед—и выше, „вперед—и выше“, увлекая за собой все живое и жизнеспособное, заражая бодрым, радостным настроением, суля бесконечные перспективы. „Пусть сильнее грянет буря“,—льется песнь буревестника, и эта песнь наполняет душу не страхом перед стихией, а мужеством и жаждой жизни, сознанием силы, переливающейся „живчиком по жилочкам“ и рвущейся к делу. И среди этого могучего хора пробуждающейся весны жалким диссонансом звучат заунывные голоса отмирающего поколения, пережившего свои мечты и желания. Грустной вереницей проходят бесславные потомки некогда славных отцов перед нашими глазами в пьесах А. П. Чехова. Без веры, без воли, без желаний коротают они свой печальный век—эти „лишние люди“.

Лишние люди!.. Какое нелепое, какое уродливое сочетание понятий. Для людей, провозгласивших человека царем творения, поставивших его на первое место среди всего сущего, казалось бы, может быть „лишним“ все, что угодно, только не сам человек. А, между тем, несмотря на торжественные гимны человеку со стороны идеалистов и менее высокопарное, но более глубокое уважение к нему со стороны реалистов, жизнь немилосердно коверкает людей и ставит их нередко в такие условия, где они оказываются совсем лишними.

— Я умираю от стыда при мысли,—жалуется Иванов,— что я, здоровый, сильный человек, обратился не то в Гамлета, не то в Манфреда, не то в лишние люди...

И этот „здоровый, сильный“, но лишний человек такими мрачными красками рисует свое душевное состояние:

— С тяжелой головой, с ленивой душой, утомленный, надорванный, надломленный, без веры, без любви, без цели, как тень слоняюсь я среди людей и не знаю: кто я, зачем живу, чего хочу?

А за ним мрачными рядами проходят другие, такие же „лишние люди“—Астровы, дяди Вани, Тузенбахи, злополуч-

ные „сестры“, несчастные „чайки“, владельцы „вишневых садов“, и много их, и все они угрюмые, измученные мелкими, но безысходными страданиями и жалкие этой мелочностью своих страданий. Сквозь дымку идеализации—или, вернее, поэтической жалости и сострадания, которыми окружил своих героев автор,—проглядывает все ничтожество этой серенькой, туманной жизни, грустной, отталкивающей, как дождливый, осенний день.

— Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас,—справедливо замечает Астрон,—...будут презирать нас за то, что мы прожили наши жизни так глупо и так безвкусно.—Мы стали такими же пошлякаки, как все,— признается он ниже.

А между тем, автор не задавался целью изображать и поэтизировать пошлых, ничтожных людышек. Напротив, он довольно ясно дает понять, что все это были когда то умные, деятельные люди, своего рода лучшие люди данного общественного круга. Правда, этот общественный круг не был предназначен историей для совершения великих дел, мировых подвигов; правда, задачи этого круга—узко групповые, редко охватывающие интересы более широких слоев общества, не открывали широких горизонтов, не давали места смелым порывам общественного творчества. Неудивительно, что и величина героев этого круга и размах их деятельности так незначительны.

Русская литература недалекого прошлого, особенно 60-х и 70-х годов, приучила нас к типам, представляющим более крупный, общественный интерес..., литературные герои этой эпохи искали подвигов, ставили себе широкие общественные задачи, а потому неудивительно, если размах „дерзаний“ какого-нибудь Иванова—например, его „подвиг“ женитьбы на еврейке или его „необыкновенные школы“—вызывают только добродушную улыбку.

Входя в круг героев чеховских пьес, мы входим в мирное обывательское болотце, где самодовольно квакают лягушки и чинно плавают жирные утки со своим многочисленным потомством. И когда какой-нибудь юный утеныш, увлеченный примером пролетающих диких уток, вздумает подняться к поднебесью, нам нечего удивляться, если он, долетев до ближнего ивового куста, грузно плещнется в воду и станет горько жаловаться, что взвалил себе на спину непосильную ношу. И старые утки с облегчением вздохнут и будут утешать его, причитая: и мы были молоды, и мы рвались к идеалу, да что делать, любом стены не прошибешь, не перешпишь обуха плетью и т. д.

Было время, когда Иванов—„единственный во всем уезде путевой малый“—был живым и жизнерадостным чело-

веком. „Был я молодым, горячим, искренним, неглупым,— рассказывает он про себя,— любил, ненавидел и верил не так, как все, работал и надеялся за десятерых, сражался с мельницами, бился лбом о стены“.

Но, когда мы от этих эффектных заявлений перейдем к реальному содержанию его работы и борьбы „с мельницами“, мы сразу же увидим, как, в сущности, мелко плавает наш герой. Судить о том, во что он верил и из-за чего бился лбом об стену, мы можем по его назидательным советам врачу Львову: „Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках... не воюйте вы в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стену... Да хранит Вас бог от всевозможных рациональных хозяйств, необыкновенных школ, горячих речей“...

Программа, как видите, не особенно страшная, тем более, что из родственной общественной среды в наши дни выдвигаются более крупные задачи, осуществление которых требуют несравненно больших сил гражданских доблестей. Неудивительно поэтому, что нас мало трогает, когда Иванов старается обяснить свой упадок:

— Не соразмерив своих сил, не рассуждая, не зная жизни, я взвалил на себя ношу, от которой сразу захрустела спина и потянулись жили... И вот, как жестоко метит мне жизнь, с которой я боролся.

Еще тусклее и мелочнее anamnesis другого героя, трогающего своей судьбой многие ценные сердца—дяди Вани. Этот—некогда „светлая личность, по уверению его матери, всю свою жизнь ухлопал на служение профессору эстетики, казавшемуся ему гением. В конце концов гений оказался ничтожеством.

— Я обожал этого профессора, этого жалкого подагрика, — жалуется дядя Ваня,— я работал на него, как вол... Я гордился им и его наукой, я жил, я дышал им. Все, что он писал и изрекал, казалось мне гениальным... И я обманут... вижу—глупо обманут...

И когда он понял, наконец, что обманут, его охватило такое же отчаяние, как Иванова. Но ему было уже под пятьдесят лет, у него уже не могло найтись энергии, чтобы покончить с попыткой жизнью. И он начал ныть:

— Что мне делать? Что мне делать?... Начать новую жизнь... Подскажи мне, как начать... с чего начать...

На что Астров отвечает вполне резонно:—Э, ну тебя! Какая еще там новая жизнь! Наше положение, твоё и мое, безнадежно!

И, если мы присмотримся к жизни и идеалам всех прочих „лишних людей“, изображенных Чеховым, и кружка

„трех сестер“, и обитателей „вишневого сада“, мы повсюду увидим ту же черту: мелочность идеалов и жизненных задач, и большое горе и страдание, когда эти идеалы и задачи разрушает жизнь. И эта противоположность и несоответствие между желанием и страданием от неосуществившегося желания, делающие на первый взгляд жалким и смешным само страдание, при ближайшем изучении приобретает более глубокий и, так сказать, исторический смысл.

Чеховские герои являются эпигонами поколений, сыгравших в свое время крупную историческую роль, их гибель — это заключительный эпизод жизни целого общественного течения. В качестве эпигонов, в качестве представителей вымирающего, неспособного к самостоятельной жизни направления, они, поскольку не переходят на точку зрения других более жизненных течений, по необходимости обезличиваются, выцветают, спускаются от общественного до личного, от действенной энергии до апатии и разочарования.

Все, что среди нас способно еще ожить в лучших условиях, способно еще пустить новые корни и зацвести к новой жизни,—все эти элементы бегут из родной среды, как это делает Аня со своим студентом („Вишневый сад“). Сама эта среда разлагается, разрушаются связывавшие ее единство интересов и характерная групповая психология, совершается постепенное распадение и индивидуализация.

Индивидуальные задачи, с которыми выступают отдельные члены этой общественной группы, являются и по историческому значению самой группы и по их индивидуальному характеру мелочными по сравнению со всем грандиозным общественным процессом и выдвигаемыми им мировыми или хотя бы только национальными задачами; жизнь всей среды и отдельных ее членов становится тусклой и бесцветной, замолкают и замирают все общественные альтруистические инстинкты, а место их занимает беспрепреклонно господствующая мещанская пошлость.

Эта жизнь обреченного на гибель общественного строя, —а ее именно и рисует в своих пьесах А. П. Чехов,—не может дать пищи для творчества художника.

И мы действительно видим, что во всех своих пьесах наш автор изображает только один момент из жизни „лишних людей“: именно —их гибель:

„Еще года нет, как был здоров и силен и т. д.“ — говорит про себя Иванов; дядя Ваня „до прошлого еще года“ верил в своего профессора; действие в „Трех сестрах“ начинается „через год“ после смерти их отца, изменившей весь строй их жизни.

Точно также пьеса „Вишневый сад“ рисует нам процесс гибели владельцев этого сада. И это, конечно, не случайность.

Поскольку жизнь „лишних людей“ представляется мелочной и попойкой, постольку их гибель имеет крупный и общественный интерес: ибо с ними ликвидируется целый период нашей общественности, гибнет окончательно целый общественный слой, имеющий свою длинную историю, сыгравший в свое время крупную роль в развитии самосознания русского общества.

Условия общественного быта обрекают данную группу на гибель, и это крупный факт, стоящий великого плача „лишних людей“; идеалы же и борьба их мелочны, ничтожны и по справедливости теряются во мраке *anamnesis'a*.

Отсюда понятно, что автор имел достаточно оснований использовать для художественных целей гибель и горе „лишних людей“, отдававшись от них положительного содержания короткими намеками.

Присмотримся теперь к этому общественному процессу, который породил „лишних людей“ и обрек их на бесславную гибель.

## II.

Современные цивилизованные общества—общества дифференцированные—разложились в процессе развития на определенные классы и группы, с определенными хозяйственными, общественными и правовыми интересами и идеалами. Эти интересы, вытекающие из условий существования и роли данной группы в процессе общественного производства благ жизни—другими словами, из производственных отношений общества—далеко не солидарны между собою, нередко даже прямо противоположны. Эта несолидарность интересов отдельных общественных групп, естественно, вызывает трения и столкновения между ними и понятное стремление каждой группы занять доминирующее положение в обществе. Надо заметить, что как целые общественные классы, так и отдельные группы являются не только выражителями данных интересов в данный момент, но также выражителями этих интересов в будущем, в процессе развития общества. Только рассматривая общественные группы в этом процессе, мы можем ясно понять их значение и роль в обществе.

Историческое развитие, уровень и состав производительных сил общества, характер его технической культуры—создают условия, наиболее благоприятные для отдельной общественной группы, и тот же процесс, который создал эти обективные условия, создает одновременно и условия суб'ективные—считая суб'ектом данную коллективную единицу,—именно: сознание необходимости и готовность добиваться тех благ, которые делают доступными в данный момент обективный процесс. Стихийный процесс выдвигает

из масс данного общества сознательного выразителя преобладающих интересов в обществе или, что то же, выразителя интересов преобладающей (по значению) части общества. Это единство исторического процесса, в силу которого одновременно и теми же причинами создаются материальные, обективные условия для данной роли определенной группы в обществе и психологические, субъективные условия, толкающие эту группу именно к этой роли,—является одним из самых интересных и основных вопросов социологии. Только уяснив себе единство обоих сторон исторического процесса—и материальной и духовной, и стихийной и сознательной,—можем мы вполне постичь так наз. закономерность общественного развития.

Общественный класс—или группа,—выдвинутый ходом событий на первое место и, таким образом, доминирующий в обществе, естественно, осуществляет свою „историческую идею“.

Стоя во главе общественного процесса производства и являясь, таким образом, его хозяином и организатором, этот класс стремится, естественно, реорганизовать на тех же началах и все общественные отношения, приспособляя их к наилучшему удовлетворению своих классовых потребностей. В качестве доминирующего класса в обществе, он считает себя представителем и выразителем интересов всего общества, а потому стремится свои правовые, научные, моральные понятия фиксировать в обязательных нормах, как правовые, научные, моральные понятия всего общества.

Конечно, другие классы, занимающие иное положение в производственном процессе страны, а потому имеющие другие хозяйствственные интересы, другие правовые и моральные понятия, только в силу необходимости мирятся с фиксированными нормами. Довольно вспомнить, как французское „третье сословие“ в течение многих столетий боролось с теми нормами, которые были установлены господствовавшими сословиями феодального общества. В философии, в этике, в праве старалось оно формулировать свою идеологию, нашедшую полное выражение в эпоху, предшествовавшую 1789-му году. Но это полное выражение идеологии подраставшей буржуазии могло сложиться только тогда, когда обективный процесс развитий производительных сил пропел отходную феодальному строю хозяйства и государства и подготовил период власти буржуазии. Роль, которую данный общественный класс (или группа внутри класса) играет в хозяйственной жизни страны, определяет и ту роль, которую он в силах сыграть в общественной жизни. Если хозяйственной роли класса суждено процессом развития крупное будущее, то и в общественной жизни он проявит силу,

энергию, боевую бодрость; если же его функция в производственном процессе обречена на гибель, то и в общественной жизни этот класс (или группа) будет чахнуть, терять свое значение, разлагаться; другие более счастливые общественные элементы будут отнимать у него позицию за позицией, все жизнеспособное будет бежать от него в другие слои общества, а сам он в политическом отношении поплется в хвосте какого-нибудь примыкающего и более жизненного класса, пока совсем не растворится в обществе.

Когда в процессе общественного развития происходит замена одного класса другим в роли доминирующего общественного элемента, как это пережили в течение минувшего века все европейские государства при переходе от феодальных к буржуазно-капиталистическим отношениям, тогда весь строй хозяйственных и общественных отношений претерпевает серьезные изменения.

Новый доминирующий класс—это новый организатор хозяйственного, а за ним и общественного порядка страны. И он стремится, как было указано выше, приспособить весь строй жизни общества к своим историческим потребностям.

Правда, в момент расцвета этого класса уже хозяйственная жизнь в значительной мере приспособлена к этим потребностям, ибо появление этого класса во главе общества само по себе является результатом и показателем переворота, совершившегося в недрах общества; иначе данный класс не мог бы занять первенствующего положения. Но в том то и дело, что хозяйственная жизнь страны пока только в значительной мере приспособлена к потребностям данного доминирующего класса. Как он является лишь преобладающим (по значению) элементом общества, так и его специфические формы хозяйства являются преобладающими во всем хозяйственном строе страны.

Исторической задачей нового хозяина жизни становится: преобразовать всю экономическую жизнь, все производственные отношения в духе характерного для него способа производства. В этом, да и в аналогичном преобразовании в области общественных отношений и заключается тенденция данного класса реорганизовать жизнь страны в интересах наиболее удовлетворения своих классовых потребностей.

Во Франции, например, накануне переворота 1789 года капиталистические отношения—особенно в промышленности—находились еще на очень невысокой ступени развития, но зато, когда буржуазия достигла власти, она целым рядом мер—от секуляризации монастырских земель до гражданского уложения—начала способствовать нарождению и росту капитализма, начала приспособлять жизнь страны к удовле-

творению своих классовых потребностей. В этом процессе приспособления совершаются коренная, нередко очень болезненная ломка. Целым общественным группам, втянутым в круговорот экономической жизни нового общества, придется реорганизовать весь строй и хозяйства, основанный на совсем других отношениях, приспособленный ко всем другим требованиям.

А такую ломку в силах вынести не всякая группа: для этого нужна наличность многих материальных и моральных условий.

С определенными хозяйственными отношениями сживаются и своеобразные представления, понятия, навыки. Известные способы производства и основанные на них хозяйственныe взаимоотношения людей требуют вполне определенных умственных и моральных свойств. Если полунаатуральное крепостническое хозяйство способствовало некоторой барской халатности и распущенности, если оно развивало барские качества — обломовщину, нерадивость, мотовство, но зато нередко и великодушие, бескорыстие, то совсем иные свойства требуются при капиталистическом хозяйстве.

Деловитость, расчетливость, бережливость, с одной стороны, эгоизм, черствость, с другой,— вот те душевые качества, которые поощряет развитие капитала и которыми это развитие в свою очередь поощряется.

Естественно, поэтому, что переход от феодализма к капитализму не совершается простым переходом от стародворянских производственных отношений к буржуазным, от крепостного к вольнонаемному труду. Напротив, этот переход представляет медленное и продолжительное перерождение старого общества в новое, постепенное приспособление старых методов хозяйства к новым потребностям, постепенное зарождение и рост в недрах старого общества элементов нового. Но когда новые начала становятся господствующими началами в обществе, когда они диктуют свои требования всей общественно-экономической жизни, тогда перед общественными группами, сохранившими еще старые формы хозяйства, встает роковой вопрос: либо сразу приспособиться к новым требованиям, либо погибнуть.

И тут-то замечается, что целые группы общества оказываются, благодаря своей хозяйственной и психологической отсталости, неспособными к достаточно полному и достаточно быстрому приспособлению. Начинается процесс упадка, оскудения, гибели. Процесс медленный, ибо и группы и отдельные особи борются за свое существование, приспособляясь в тех или других частностях, и нужны долгие годы, пока жизнь сотрет с лица земли отживающие, но цепкие формы.

В этом процессе упадка, обусловленном неспособностью данной группы применяться к новым обстоятельствам, происходит и упадок и вырождение всей той общественно-психологической надстройки, носительницей которой являлась эта группа, т. е. ее идеалов мировоззрения, ее специфических настроений.

Утратив свое прежнее значение и не приобретя нового, наша группа совсем перестает играть в обществе роль самостоятельного элемента. Внутренняя связь ее ослабевает, групповая психология затирается, между самой группой и ее идеологами начинается все растущий разлад, более живые силы уходят из родной среды, идут на службу к новым хозяевам жизни или опускаются к народным массам, и в том и в другом случае отрекаясь от психологии породившей их группы.

Но горе тем идеяным представителям этой группы, которые не в силах порвать психологически со своей средой, не в силах усвоить чужой психологии. Они обречены на жалкое существование, на бесплодную борьбу с опошлевшей, опустившейся средой. Идеалы их ничтожны, сил для борьбы у них мало—ведь это те элементы, которые остались после ухода лучших сил!—и вот они после недолгих усилий надрываются, разочаровываются, обессиливаются.

Погрузиться в чисто зоологическое существование, как большинство их собратьев, они не могут; сознание болезненно работает и казнит их; борясь дальше не хватает энергии, и они становятся „лишними людьми“.

### III.

В половине прошлого века Россия пережила замечательнейший перелом. Мы имеем в виду не законодательные реформы 60-х годов, а тот глубокий внутренний переворот, преобразовавший старую, барскую, сословную Русь в молодую, классовую или, как принято говорить, гражданскую Россию.

Этот знаменательный факт, вызванный потребностями нароставшего капиталистического хозяйства, сразу стер прежние строгие границы сословий, смешал вместе барские и мещанские понятия, и из этого хаоса выдвинул новый класс, которому суждено было сыграть в будущем доминирующую роль,—промышленную буржуазию.

В эпоху крепостного права русское общество делилось на две крупные резко очерченные части, отстоявшие одна от другой на целые столетия культурного развития—на привилегированную и непривилегированную Русь. В то время как последняя вела исключительно зоологическое существование и не поднималась в своих вожделениях выше скромного

желания упорядочения гражданско-правовых отношений, первая пользовалась всеми благами европейской культуры, имела довольно широкую возможность „погружаться в искусство, науки, предаваться страсти и мечтам“. И она—по крайней мере, самые культурные элементы ее—погружалась, соответственно запросам времени и моды, то во французский рационализм, то в немецкую философию. И оттуда выносила она те „страсти и мечты“, которые рано выдвинули в передовых слоях российского дворянства запросы публично-правового характера.

Таким образом, прогрессивное дворянство в эпоху крепостного права стало историческим носителем западноевропейских идей государственности. Эпоха освобождения крестьян и других крупных реформ, ослабившая в значительной мере сословные перегородки, разрушившая китайскую стену, ограждавшую российское „третье сословие“,—эта эпоха создала тот хаос, из которого родилась современная буржуазия, и в этом хаосе переходного времени погибла преемственная нить, существовавшая соединять передовые элементы господствующих классов старой и новой Руси. Новый организатор общества—буржуазия, явившаяся законным наследником исчезнувшего крепостнического дворянства, зародилась и вышла на общественную арену при таких условиях, при которых она не могла, по крайней мере, в первое время—унаследовать правовые лозунги прогрессивного дворянства.

Воспитанная в эпоху крепостных отношений, стеснявших и тормозивших развитие и последовательное проведение в жизнь начал неограниченной, бессословной частной собственности, молодая буржуазия, естественно, сосредоточила свои *desiderata* на осуществлении этих гражданско-правовых начал; получив свое гражданское равноправие из рук государственной власти, как добровольный дар этой последней, она не могла увлечься идеями своего предшественника, не могла стать душеприказчиком его политического завещания.

По историческим условиям своего возникновения русская буржуазия принесла с собой только ограниченный багаж чисто экономического самосознания, по уровню своего развития она находилась еще на той стадии, когда класс определяется „способом от противного“, лишь в противопоставлении другим общественным классам, чужд еще того внутреннего самосознания, которое толкает его дальше чисто экономических требований. При такой отсталости она не могла подхватить и прятать дальше преемственную нить, выпавшую из рук отжившего поколения.

Эпоха реформы подорвала в корне и хозяйственное и общественное значение тех уютных, утопавших в „вишне-

вых садах" дворянских гнезд, где столетние книжные шкафы "навевали идеалы добра и общественного самосознания" ("Вишневый сад", стр. 46). Но она не могла порвать и разрушить в живущих поколениях самых этих идеалов "добра и общественного самосознания", передававшихся, по традиции, от дедов к отцам, от отцов к сыновьям. И ряд поколений умирающего в общественном значении строя обречен был на трагедию контраста этих идеалов со все уменьшающейся общественной силой самого слоя. И, когда эта сила дошла, наконец, до нуля, тогда потускнели идеалы, пошатнулась вера в них, расслабла воля, желания сменились апатией, тоска—скукой, сложился знакомый нам тип "лишних людей".

Процесс разложения, охвативший какой-нибудь класс (или группу), прежде всего оказывается в ослаблении внутренней связи, в неустойчивости, характерной для этого класса, психологии. Более живые, т. е. более чуткие, более отзывчивые силы перестают удовлетворяться господствующим в их среде мировоззрением, ищут новых идеалов на стороне и—в результате—уходят из своей среды в другие общественные слои.

В интересующем нас процессе диференциации прогрессивного дворянства особенно характерно одно течение, сыгравшее крупную общественную роль,—т. н. кающееся дворянство. В поисках за новыми идеалами кающиеся элементы дворянства обращались к народной массе, к крестьянству, в полной уверенности, что их новые взгляды представляют верные выражения заветных мечтаний этой массы.

"Михаил Михайлович не мог не подозревать,—пишет Глеб Успенский,—что такое существо, как крестьянин, бедный, измученный, забитый, испытавший и переживший бог знает какие невзгоды, несущий на своих плечах опыт тысячелетних трудов,—должен, не пременно должен питать ненасытную жажду устроить жизнь по новому; у него в горле пересохло от этой жажды, он ждет не дождется, он страстно хочет вздохнуть полною грудью" \*).

Для кающегося дворянина естественна была мысль, что именно он—законный наследник поколений, взаимивших на плечи крестьянина эти тысячелетние труды, что он то и должен ити теперь к крестьянину и помочь ему "устроить жизнь по новому", вздохнуть полной грудью.

В этом своем стремлении кающийся дворянин столкнулся с другим типом, выросшим из общественных низов и сорвавшимся с ним на понимании практических задач времени—именно с разночинцем. Разночинец не имел за собой такого прошлого, как его невольный спутник; разночинцу,

\* ) «Чудак барин». Соч., т. II, стр. 189.

как это справедливо указывал еще Н. К. Михайловский, не в чем было каяться.

Происходя из той пестрой среды, которую в Западной Европе обобщают понятием мелкой буржуазии—мелкого духовенства, купечества, крестьянства, разночинец вынес сильно выраженное демократическое настроение, приведшее его к психологию, отрицающей буржуазность. И эта психология невольно толкала его по тому же пути, по которому шел и кающийся дворянин.

„Странное существо человек,—рассуждает типичный разночинец Базаров.—Как посмотришь этак сбоку, да издали на глупую жизнь, которую ведут здесь „отцы“,—кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером.—Ан нет; тоска одолевает... хочется с людьми возиться, хотя ругать их, да возиться!“<sup>\*\*</sup>)

Разночинец является идеологом раг excellence; в качестве такового он ищет подходящую, прочную почву, и таковую, как ему кажется,—находит в народной массе.

„Разночинец чувствует свое бессилие в качестве самостоятельного общественного слоя, он ищет поэтому точку опоры для своих заветных целей, ищет ее в низинах, где так же страдают, как и он; он становится „на родолюбив“. Таковы, на наш взгляд, основные психологические черты „разночинца“: они непосредственно вытекают из его социального положения“ (А. Писарев. Журнальные заметки \*\*).

В первые десятилетия жизни обновленной России и кающиеся дворяне и разночинецшли дружно в народную среду; первые—„чтобы уплачивать старинный, мучительный долг“, по выражению А. О. Новодворского, вторые—чтобы „возиться с людьми“. Правильнее даже сказать, что кающиесяшли за разночинцем, ибо этот молодой жизнерадостный элемент с первых же шагов взял в руки дирижерскую палочку и на все движение наложил свой характерный отпечаток. Но не долго продолжалось это единомыслие. При первых неблагоприятных обстоятельствах началось расхождение обоих течений и рельефно сказалось различие двух психологий: разночинец начал приспособлять обстоятельства к своим задачам, кающийся дворянин начал приспособлять свои задачи к этим обстоятельствам. И чем дальше,

<sup>\*)</sup> «Отцы и дети», стр. 134, изд. Маркса.

<sup>\*\*) В</sup> интересной статье, из которой приведена эта выдержка, понятием разночинца автор охватывает также и кающееся дворянство, как это видно из другого места, где состав разночинского лагеря определяется следующим образом: «дети ошеломленного крестьянской реформой оскудевающего дворянства, провинциального духовенства, чиновничества и всякого служилого люда, мелкого мещанства и даже крестьянства». Для нашей цели необходимо разделить оба типа: разночинца и кающегося.

тем больше расходились их пути; бодрый, полный надежды разночинец пошел своей дорогой, а кающиеся элементы оказались не в силах жить самостоятельной жизнью: их дальнейшее существование было постепенным падением. Мы остановимся на истории этого падения, так как судьба разночинаца не входит в рамки нашего очерка. Но прежде, чем перейти к этой печальной истории, мы должны сделать одно замечание.

Два типа: разночинец и кающийся дворянин, являются в нашем дальнейшем изложении, главным образом, и с их ходологическими типами. Чем дальше от момента освобождения крестьян, тем больше затушевывается классовый характер обоих типов; состав обоих лагерей становится все более пестрым, но эта характерная психология, которую внесли в свое течение, с одной стороны, разночинец, с другой—разлагающееся прогрессивное дворянство, эта психология продолжает налагать свой яркий отпечаток на оба течения.

Течение кающегося дворянства, которое можно было бы, по его внутреннему содержанию, назвать также культурно-народническим, являлось в рассматриваемый нами период идеологическим выражением настроений и взглядов той промежуточной, средне-дворянской, чиновничьей и интеллигентской среды, которая не успела еще дифференцироваться и раствориться в новых классах капиталистического общества.

#### IV.

„Роман интеллигенции с народом“ основывался, как мы видели, на том предположении, что освобожденный от крепостной зависимости народ должен мыслить, желать и развиваться так же, как и освободившаяся от своей прежней сословной психологии дворянская или разночинская интеллигенция. Из этой утопической предпосылки вытекала для сознания этой интеллигенции историческая возможность и моральная необходимость „итти в народ“, слиться с ним, „опроститься“.

„Мы идем слиться с народом,—говорит Серпороев \*),—мы бросаем себя в землю, как бросают зерно, чтобы зерно это взошло и уродило от сам-пят до сам-сто, как египетская пшеница“.

„Вот где теперь потечет моя жизнь,—рассуждает другой герой того же романа Караманов.—Вести беседу с этой теткой, жить жизнью, сердцем и мыслью батрака, войти в батрацкие интересы, отрешиться от всего мира, который вне батрачества, убить в себе потребности, которые разви-

\* ) Мордовцев, «Знамения времени», стр. 312.

вает в человеке образование, богатство, знание, из крупного землевладельца, кандидата прав и литератора выродиться в поденщика и узкими интересами поденщика заглушить в себе все высокие человеческие интересы,—одним словом, буквально влезть в шкуру народа, чтобы понять этот народ и слиться с ним, отдать барское, белое, изнеженное тело посконной рубахе и сермяге, облечь узкую дворянскую ногу в онучу и лапоть, чтобы на себе самом почувствовать всю прелесть онучи и силу лаптя<sup>\*\*</sup>).

С такими идеалистическими и альтруистическими намерениями пошла народолюбивая интеллигенция в деревню „работать и думать с народом“. Но ее понятие о народе оказалось столь же наивным и фантастическим, как и представление о „прелестях онучи“ и „силе лаптя“. Народ, действительный, реальный, а не водевильный народ старых сентиментальных романов, оказался великим материалистом и эгоистом. Народ,—как это справедливо предполагал Михаил Михайлович,—действительно питал „ненасытную жажду“ устроить жизнь по новому; действительно, хотел „вдохнуть полной грудью“... Но он жаждал устроить новую жизнь хозяйственного мужичка, жаждал материального благополучия мелкого буржуа, хотел вдохнуть полной грудью свободного собственника. Идеалистические порывы молодежи наталкивались на материалистическое желание: „землицы бы“; ее альтруистическая проповедь не в силах была устраниТЬ эксплоатацию батрака его же односельчанином.

„Мы идем в народ, в курные избы,—мечтала народолюбивая интеллигенция,—и будем там жить, будем там пахать и сеять—не современные идеи, а просто рожь, ячмень и пшеницу, а после уже и идеи, если достаточно удобрим почву, унавозим ее“ <sup>\*\*</sup>).

А, между тем, действительность с каждым днем все яснее доказывала, что чем успешнее унавоживалась земля „под рожь, ячмень и пшеницу“, тем менее поддавалась почва унавоживанию под „современные идеи“.

Об'ективный процесс развития деревни все резче и резче расходился с идеологической схемой народолюбивой интеллигенции.

Но на почве этого об'ективного, стихийного процесса, подготовившего жестокое разочарование, возникали и суб'ективные, сознательные факторы, противодействовавшие культурной деятельности молодежи. С одной стороны, над темным крестьянством тяготело мрачное привидение только-что усопшего крепостного права со всеми его ужасами, а, следовательно,

<sup>\*)</sup> Там же, стр. 270.

<sup>\*\*)</sup>  Там же, стр. 311.

и инстинктивное недоверие ко всякому „барину“, ко всякому человеку не из деревни, как бы он ни наряжался в мужицкое платье; с другой стороны, на другой же день после падения старого порядка доминирующую роль в деревенской жизни начал играть новый человек,—человек не „ради идеи“ носивший поддевку и сапоги бутылками, кость от кости той же деревни, близкий ей по психологии, а главное, сильный своей пронырливостью и превосходным знанием этой деревенской психологии. Человеком этим—был кулак. Кабатчик, лавочник или другая подобная личность, вообще, человек с капиталом, а, следовательно, и с весом, заправлял всем миром и мирским хозяйством, задавал тон не только в вопросах сельской политики, но и по части этики и поведения отдельных мирян. Его сторону тянули, в силу сродства интересов, все денежные и хозяйствственные мужички, в его руках все волостное правление, старшина — кум, писарь — друг-приятель и т. д.

Эта-то новая сила скоро почуяла всю опасность, которая угрожает ее бесконтрольному владычеству и хозяйствничанию от присутствия в деревне интеллигентных и альтруистических элементов в лице народолюбивой молодежи! Неудивительно, что она поспешила пустить в ход все свои силы, связи и влияние, чтобы оградить свою паству от нежелательного и невыгодного соприкосновения с пришельцами. Началась безобразнейшая травля всех интеллигентных тружеников в деревне: фельдшериц, учителей, учительниц и т. д. Всем этим лицам приходилось слышать один возглас: «попшел вон, не суйся! испортишь! изгадишь!» Зато те самые „подстриженные, рыжие бородки“, которые гнали интеллигенцию из деревни, сами своими средствами удовлетворяли всем потребностям этой деревни.

„Безграмотный человек все подваливает и подваливает,— писал Успенский.—Он улучшает нравы и финансы, он умротворяет, укрепляет народные идеалы, оздоровляет села и города, проповедует гигиену, водворяет науку и т. д. и т. д. и все это без разговоров, все в одну минуту и все за три копейки. Стоит только сказать этому расторопному человеку: „оздорови деревню, прекрати неправду, развивай бытовые начала, улучшай нравы, вот тебе два целковых на расходы!“— расторопный человек ответит только одно неизменное „слушаю-сь“, хлопнет нагайкой по лошади, и след простыл. Глядишь—все исполнил и даже сдачи представил с двух рублей, за всеми расходами семьдесят пять копеек“ \*).

Но на заре идеалистического увлечения даже эта «расторопность» всяких рыжих, подстриженных бородок и их

\* ) Соч. Гл. Успенского, т. II, стр. 265.

неизменное „не суйся“ не могли удержать народолюбивую интеллигенцию в ее стремлении культурной деятельности среди крестьянской массы. Как жилось ей в деревне—об этом полны скорбных воспоминаний страницы русской истории и литературы. Нужна была великая вера в свое дело, великая любовь и надежда по отношению к этому недоброжелательному, нередко жестокому народу, великая сила воли, чтобы перенести все лишения и страдания, чтобы не разочароваться, не пасть духом с первых же шагов.

„Сначала ей крутилько было,—описывается судьба учительницы в цитированном нами романе Мордовцева.—Стали дьячки ей пакостить, мальчишк на неё напущали, ворота дегтем мазали, на заборе у ее ворот мелом всякую скверну писали, так что срам было мимо пройти. Натерпелась-таки, голубушка, а на своем поставила, и под конец все обошлось к благополучию, только извела ее ни на что, бедная“<sup>\*)</sup>.

Но и это сомнительное „благополучие“, приобретавшееся ценой крови и нервов, не всегда бывало возможным. Сколько раз дело кончалось так, как оно изображено в полном трагизма рассказе Новодворского „Сувенир“: герой—сельский учитель—попадает за тридевять земель, а героиня—фельдшерица—лишает себя жизни. И все эти драмы и трагедии разыгрывались на глазах у тех самых масс народных, ради которых народолюбивая интеллигенция жертвовала своим покоем, счастьем, нередко и жизнью; и массы эти—в лучшем случае держались пассивно и безразлично. А, между тем, так сильно было обаяние этой культурной миссии, так высоко было напряжение действенной энергии народолюбивой интеллигенции, что понадобились годы опыта и сотни, быть может, тысячи напрасных, бесполезных жертв, пока зародилась в ней сомнение и относительно самой задачи, и относительно путей к ее осуществлениям.

Однако, в конце концов, весь этот опыт и все эти жертвы привели к разочарованию, к „сомнениям и колебаниям“. Это было первое разочарование в романе интеллигенции с народом. Оно пало, как камень, на пути народолюбивого потока, и, разбившись об этот камень, поток поплыл дальше двумя, все более и более расходящимися струями.

Вот как отразился указанный нами перелом в средине 70-х годов на настроении одного из самых характерных представителей этой эпохи:

„Голод! Когда ты оставил меня? Вечный, физический или душевный голод! Да будь хоть семи пядей во лбу, а если тебя бросить в бездонное болото, ты так же прекрасно потонешь, как самый слабый смертный. Мне теперь очень

<sup>\*)</sup> „Знамения времени“, стр. 59.

тяжело. Я ясно чувствую, что я теперь дальше от народа, чем когда бы то ни было; что я теперь не только не могу быть чернорабочим, как мечтал когда то, но даже положение народного учителя едва ли было бы мне под силу. Дело ясно: мне оправдывала та обстановка бесприютности, которую пахнет при слове „мужик“, оправдывала потому, что я слабею, тогда как он не переменился, потому что я измучился, устал от нравственных мучений (каковы бы они ни были, они не всегда бывают глупы), которые ему меньше знакомы... А, между тем, я себя воспитываю, чтобы слиться с народом. Да это просто насмешка! Насмешка над логикой с моей стороны и горькая ирония обстоятельств надо мною“.

Так писал в феврале 1876 г. в своем дневнике очень чуткий наблюдательный человек — А. О. Новодворский\*\*). И это пессимистическое настроение не было личной особенностью автора. Он видел его и в других своих современниках, видел и фиксировал в своих рассказах.

„Когда он (Печерица) вечером засядет за книги,—пишет он в рассказе „Эпизод из жизни ни павы ни вороны“,—и через несколько минут зашагает в волнении по крошечной площадке пола, то в его тревожном беспокойном взоре я ясно вижу ни паво, ни воронъ сомнения и колебания; если в эту минуту войдет кто-нибудь посторонний и Печерица начнет с ним разговор, толковый разумный разговор, твердым голосом и с видом человека, власть имеющего, то я прекрасно знаю, что на сердце у него скребут кошки. Вся разница между ним и мною только та, что я, так сказать, постепенно спускался с вершины Кавказа, тогда как он вырастал из земли\*\*\*).

Но если спускавшиеся с вершин Кавказа, кающиеся элементы и выраставшие из земли разночинские и сходились в данный момент в общем настроении „сомнений и колебаний“, тем не менее, уже в этом и как раз в этом настроении лежала исходная точка их последующего расхождения. „Сомнения и колебания“ оказались тем общественным реактивом, который разложил разношерстную массу народолюбивой интеллигенции на два основные элемента: один из них преодолел свое временное настроение и сумел отрешиться от него; другой „не осилил думы жестокой“, и временное настроение одолело его, стало доминирующим его настроением. Вот как характеризуется встреча обоих элементов—восходящего разночинского и отживающего дворянско-культурнического—в рассказе Новодворского „Накануне ликвидации“:

\* ) А. Осипович (А. О. Новодворский), собр. соч. СПБ, 1897 г., предисловие.

\*\*) Там же, стр. 19.

— Этому молодому человеку я недостоин развязать ремень у обуви...—рассказывает дворянский сын Попутков про своего „духовного сына“.—То что у меня было только отвлеченной теорией, принадлежностью заветной клеточки мозга, которой я не открывал вне интимного кружка, у него сделалось общим исключительным настроением.. Сколько в нем силы.. Он и мне протягивал руку...

— Ах вы... голубчик мой! И что же, вы того... оттолкнули эту руку?...

— Да, потому что в сущности ни на что неспособен.\*)

Но если Попутков так искренно признает свою неспособность на что-нибудь путное, то нельзя сказать, чтобы его направление было столь же откровенно. Напротив, оно—как мы увидим ниже—со свойственным всякому отживающему течению непониманием старалось об'яснить исключительно неблагоприятными внешними условиями свою неспособность сыграть самостоятельную общественную роль.

Ни паво ни вороньи сомнения и колебания должны были скоро разрешиться для Печерицы и его друзей в виде преодоления временного пессимистического настроения. Несмотря на высказываемый автором страх потонуть в болоте, потонуть они не могли хотя бы уже потому, что, как говорит несколько дальше Печерица, „если в башке у человека зародилось кое-что, чему по законам человеческого прогресса положено развиваться, то такой человек не умирает“.

Зато нельзя того же сказать про другое крыло народолюбивой интеллигенции. То, что все определенное зарождалось в „башках“ этих элементов, лишь идеологически отражало разлагающиеся условия быта породившей их общественной группы; как эта группа, так и ее идеологи были обречены историей на гибель. Гибель „вишневых садов“, как определенной самостоятельной хозяйственной категории, гибель того красивого мировоззрения и тех тонких настроений, которые вырастали в нежной атмосфере этих „вишневых садов“,—отражалась в умах кающихся в форме мирового пессимизма.

Освободившись от идейной гегемонии разnochинцев, культурное течение пришло окончательно к самосознанию, и это самосознание было бесплодно, как песок пустыни.

## V.

Выделившись из общей массы народолюбивой интеллигенции, культурно-народническое течение все резче и резче начало приобретать те характерные черты отживающего

\* ) Там же, стр. 384.

в историческом смысле общественного слоя, которые затушевывались прежде, благодаря гегемонии разночинской идеологии.

Только после этого расхождения начали складываться и рельефно выступать оба указанные нами типичные настроения: жизнерадостное, оптимистическое, бодрое—разночина и мрачное, пессимистическое, угнетенное—кающихся элементов. Вокруг этих двух настроений группировались оба течения народолюбивой интеллигенции, определяясь нередко в гораздо большей мере указанными психологическими факторами, чем социальным происхождением и положением. Дело в том, что и разночинец, и кающийся дворянин не имели под собой той прочной классовой подпочвы, которая властно определяет и направляет развитие взглядов, вкусов, понятий данной общественной группы; оба они происходили из отживающей, неспособной к самостоятельной общественной жизни среды. Разночинец, как это видно из самого названия, являлся продуктом разложения, отбросом разных социальных групп. Происходил ли он из разлагающегося, как сословие, крестьянства, или из недоразвившейся в России до самостоятельной роли мелкой буржуазии, или же неустойчивых групп, как духовенство и мелкое чиновничество,—всегда в основе его психологии лежал разрыв с родной средой. Являясь по отношению к этой среде как бы „избыточным населением“, колонистом, ищущим счастья вне родных условий, он отрицает и экономические условия ее жизни и ее социальную роль и ее типичную психологию. Конечно, в зависимости от силы этого отрицания и от степени проникновения его психологии элементами мещанства, определяется и та среда, в которой он будет обектировануть свою новую идеологию, среда, к которой на службу он пойдет.

Нельзя не отметить, что теперь, когда капиталистические отношения и соответствующая им степень дифференциации общества приняли в России вполне определенные формы, громадный процент разночинцев растворяется в буржуазной среде. Но в половине 70-х годов в период еще слабой дифференциации разночинец был по преимуществу народолюбив и в народной среде искал осуществления своих идеалов.

Несколько иной, хотя не менее неустойчивой была социальная подпочва другого течения—кающегося дворянства. Происходя из тех слоев землевладельческого дворянства, которые в силу экономического и социального характера своего быта не могли приспособиться к новым буржуазно-капиталистическим методам хозяйства и мышления, это течение явилось, таким образом, продуктом оскудевающей,

разлагающейся, обреченной на гибель общественной группой. Из родной среды оно вынесло отрицание этой среды, отрицание ее греховного прошлого, и в то же время враждебные отношения к новому нарождавшемуся буржуазному порядку.

Психология этого течения определялась желанием сохранить поэзию „вишневых садов“ при необузданном товарном обращении, определялась переходными условиями между крепостным и капиталистическим хозяйством. Неудивительно, что кающихся потянуло в деревню, уже освобожденную от крепостной зависимости и еще не вовлеченному в торговый оборот буржуазного хозяйства. Таким образом, психология кающегося дворянства также характеризуется отрицанием родной среды, но это отрижение—в противоложность разночинскому, нерешительное и половинчатое. Те единичные лица и группы, которые в силах были преодолеть эту половинчатость, уходили окончательно в ряды разночинцев.

Указанный нами выше раскол в рядах народолюбивой интеллигентии не только резко разделил ее на две группы, характеризуемые принадлежностью к тому или иному психологическому типу, но, вместе с тем, дал возможность самостоятельно развиться каждому из этих типов и принять ту форму, которая полнее всего выражала его сущность. В освобожденной психологии культурно-народнического течения сразу же выступили на первый план унылые пессимистические нотки—отражение общественного вырождения и упадка,—и эти нотки „сомнения и колебания“ стали играть в ней доминирующую роль. Спустившиеся с вершины Кавказа кающиеся элементы были ядром и вождем этого течения и печать своей типичной психологии они наложили на все течение.

Сколько раз мы опускали руки;  
Сколько раз бросали бурный спор,  
И опять с отвагой шли на муки,  
На борьбу за свет и за простор<sup>\*)</sup>)  
—пело одно течение устами П. Я.

Неволя колыбель мою качала,  
Бессиление могилу роет мне,  
—отвечало другое словами Фруга.

Дон-кихотизму разночинцев культурно-народническое течение противопоставляло гамлетизм.

„Говорят, что беспощадный анализ—мучение,—писал в 1877 году четырнадцатилетний Надсон в своем дневнике, —я, наоборот, нахожу в нем какое то особенное наслаждение, особенное удовольствие...“

<sup>\*)</sup> П. Я. Стихотворения, т. I, стр. 9.

Поколение, певцом которого суждено было стать Надсону, влагало в самую основу своего настроения разлагающий и ослабляющий анализ. Общественное течение, обреченное на гибель, общественное течение, которому суждено было выродиться в „лишних людей“, с характерной близорукостью искало причин своего пессимизма не в собственном бессилии, как общественной группы, а во внешних условиях, в попытке людей, в несовершенстве мира.

Положительные стороны человеческой природы, как бодрое, жизнерадостное настроение, вера в будущее, жажда борьбы, стали считаться символом попытки, отрицательные же черты, свойственные всякому погибающему течению—бессилие, неудовлетворенность, неверие, пессимизм—возвращались в норму, удостаивались какого то культа. Неудивительно поэтому, что другой властитель дум рассматриваемого нами поколения—Всев. Гаршин—писал в письме к Фаусеку следующие язвительные строки:

„Все люди, которых я знал, разделяются на два ряда или, вернее, распределяются между двумя крайностями: одни обладают хорошим, так сказать, самочувствием, а другие—скверным. Один живет и наслаждается всякими ощущениями: ест он—радуется, на небо смотрит—радуется, даже низшие физиологические отправления совершает с видимым удовольствием. Придет из вантер-клозета и говорит: „Ну, брат, да и хорошо же я—и пр.“\*).

Эти ядовитые слова очень ярко выражают характерный для падающего общественного слоя культ унылого страдальческого настроения. Эта инстинктивная неприязнь ко всему жизнерадостному сказалась очень реально также впоследствии в 90-х годах, когда эпигоны некогда прогрессивного течения, поседевшие в гражданской скорби, с враждебным недоумением смотрели на молодое поколение, которое чему то радуется. Вся история русской интеллигенции дает яркую характеристику этой смены настроений и наглядно доказывает, что вне психологических делений людей на Гамлетов и Дон-Кихотов, на лиц с „хорошим“ и со „скверным“ самочувствием и т. п. существуют такие же социологические деления, когда условия общественного развития придают настроению той или иной группы оптимистический или пессимистический оттенок.

Так и настроение Гаршина и всей культурнической струи и прогрессивного направления было продуктом не индивидуального устройства, как казалось самому Гаршину, а той роли этой струи в общественной жизни, которая

\*.) Памяти Гаршина (сборник), СПБ. 1889 г., стр. 48.

осуждала ее на жизнь „без дела и без отдыха“, по выражению Глеба Успенского.

Мы видели уже выше, что в качестве субъективного элемента психологии кающегося дворянства входила в нее моральная потребность уплатить „старинный, мучительный долг“. Ради этой потребности интеллигенция надевала зипун и лапти и шла унавоживать почву под современные идеи. Мы видели также, как она разочаровалась в этом предприятии, как у нее возникли „и сомнения и колебания“, и как эти сомнения и колебания привели к расколу, к разделению потока народолюбивой интеллигенции на два течения. Перед лицом этого разочарования культурно-народническое течение попыталось посредством характерного для нее приема приспособления своих потребностей к внешним условиям удержаться в народной массе.

— Тут ли не найти себе места и дела,— говорило оно,— особенно человеку, знающему цену своим силам и готовому помириться с какими угодно микроскопическими размерами поприща, лишь бы оно только имело связь с добропорядочностью дела (непременно) на пользу ближнего\*).

Но и это самокастрирование, этот переход от „современных идей“ к „микроскопическим делам“ не спас народолюбцев от грозного окрика: „не суйся“. Не имея собственных ярко выраженных классовых интересов, не будучи в силах стать целиком на точку зрения какого-нибудь другого класса, лишенное, наконец, внешней возможности уйти беспрепятственно в чисто-культурническое филантропическое дело, культурно-народническое течение обречено было на медленную тяжелую агонию: положение его стало безнадежным.

„Много в ту пору сгибало народу,— пишет Гл. Успенский,— не знаю, как я сам остался, каким образом не очутился в Неве, не помешался. Я помню только целые годы какого то смертоноснейшего угара. Только бывало и видишь: вот-вот человек сойдет с ума, делает что то, мечется, смотрит какими то ужасными глазами; и точно: через день, через два—рассказывают—повезли в сумасшедший дом. Или придет кто-нибудь и извещает, что он только что с 11-й версты—просидел 10 месяцев. В то же время в обществе, жившем без дела и без отдыха, утомленном этим невозможным нравственным состоянием, стала распространяться какая то мертвящая ханжеская доктрина, проповедывавшая кротость и простоту, сердца, требовавшая какого то умиления почти перед голой пустотой и ровно ни к чему, ни добруму ни худому не обязывавшая человека“...\*\*)

\* ) Глеб Успенский. соч. т. II, «Малые ребята», стр. 263.

\*\*) Там же, стр. 265.

Из этой характеристики Успенского уже ясно намечается процесс разложения культурно-народнического течения: с одной стороны, выделяется группа—самая инертная в своем общественном значении,—которая развивает и проводит в жизнь одну часть старой формулы кающегося дворянства: покаянный морализм. Это направление, успокоившееся на удовлетворении чисто субъективной потребности морального равновесия, этического самосовершенствования, легко, конечно, разрешило „проклятые вопросы“ во всевозможных интеллигентских поселках, культурнических начинаниях и т. п.

Другое же направление, для которого в прежней формуле гораздо важнее была другая часть, именно—уплата мучительного долга, т. е. не нравственная обязанность по отношению к своему Я, а общественная обязанность перед народом, лишенное возможности уплатить этот долг в той форме, на какую оно только и было способно,—осуждено было на жизнь „без дела и без отдыха“, т. е. на бездеятельность, на самоанализ, приводящий к самому мрачному пессимизму, на самобичевание и безнадежное нытье. И каждый шаг такого анализа приводил все в большие и большие дебри пессимизма.

„Получил письмо от Alex. Heard., Esq.-re из Лондона,— пишет Гаршин еще в 1876 году Дрентельну.—Тоже тоскует. Господи, куда же деваться! Разве в самом деле удариться в гартмановщину, или еще в какую-нибудь ерундищу? Не ударишься ни во что подобное; мозги все-таки так положительно устроены, что Гартман не соблазняет“.

Гартман—пессимистическая философия Эд. Гартмана,—конечно, не мог соблазнять Гаршина и других людей этого типа. „Удариться в гартмановщину“, т. е. возвести свой социальный пессимизм в философский принцип, в мировой закон—для этого и мозги были слишком положительно устроены, да подобной „ерундищей“ занимались уже другие, дошедшие до „умиления почти перед голой пустотой“. Для „положительных мозгов“ нужна была положительная работа. А на этот счет дело было безнадежно.

И вот, начало возникать сомнение: нужна ли эта положительная работа. И на этот вопрос слышался ответ Надсона:

Я боюсь, что мы горько ошиблись, когда  
Так наивно, так страстно мечтали,  
Что призванье людей—жизнь борьбы и труда,  
Беззаветной любви и печали...  
Ведь природа ошибок чужда, а она  
Нас к открытой могиле толкает.

Но, „если жизнь борьбы и труда“—не призванье людей, а простой мираж, плод фантазии, то что же остается делать человеку перед лицом суповой жизни? Если не бороться—то, значит, страдать. Страданье и горе выступают, как основное настроение неспособных на борьбу людей. Выше мы видели, как бодрое и жизнерадостное настроение отождествлялось с пошлостью, теперь делается шаг дальше и провозглашается культ горя и страданья:

Кто крест однажды взялся несть,  
Тот распинаем будет вечно.  
И если в жертве счастье есть,  
Он будет счастлив бесконечно\*).

Счастье жертвы! Как далеко ушла прогрессивная часть общества от Базаровского „Мы драться хотим“. Но если у Минского мысль высказана еще в условной форме (если... есть), то у Надсона счастье жертв возведено уже на пьедесталы:

Ведь сердце твое—это сердце больное,  
Заглохнет без горя, как нива без гроз:  
Оно не отдаст за блаженство покоя  
Креста благодатных страданий и слез.

Но что же тогда эта самая жизнь, которая еще так недавно сулила борьбу и труд, а теперь вблизи дает только страданья и слезы? Жизнь эта—обманчивое марево:

Бедна, как нищая, и, как рабыня, лжива,  
В лохмотья яркие пестро наряжена,  
Жизнь только издали нарядна и красива,  
И только издали манит к себе она. (1882 г.)

Но если жизнь вблизи ненарядна и некрасива, быть может, она все-таки даст хоть какую-нибудь возможность сделать ее хоть сколько-нибудь нарядной и красивой? Увы! Разочарование поэта толкает его по наклонной плоскости отрицания, и он видит уже, что жизнь не только ненарядна и некрасива, но что она и бесплодна:

И скорбно я глядел потухшими очами,  
Как жизнь, еще вчера сиявшая красотой,  
Жизнь,—этот пышный сад, пестреющий цветами,—  
Нагой пустынею лежала предо мной. (1883 г.)

Жизнь—бесплодная пустыня, а в пустыне не только борьба и труд, но и горе и страдание теряют всякий смысл:

Для чего и жертвы и страданья,  
Для чего так поздно понял я,  
Что в борьбе и смуте мирозданья  
Цель одна—покой небытия? (1884 г.)

\*) Н. Минский, «Гефсиманский сад».

Так жизненное бессилие разлагающегося общественного слоя привело последовательно его идеологов к отрицанию всякого смысла в мировом и общественном процессе. Несоответствие этого процесса интересам данного слоя заставляло признать бессмысленным и беспечальным самый процесс: нелепое с ограниченной точки зрения обитателей „Вишневого сада“ казалось им нелепым с точки зрения мирового процесса.

Таким же мрачным пессимизмом проникнуто и настроение Гаршина. Особенно резко это сказалось в его рассказе „*Attalea princeps*“. Рассказ этот слишком известен, чтобы излагать его; приведем лишь несколько строк из конца его:

„Была глубокая осень, когда *Attalea* выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал серые ключковатые тучи... — „Только-то,— думала она.— И это все, из-за чего я томилась и страдала так долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшей целью?“

Характерная черта всякого отживающего течения—его неприспособленность к господствующему строю отношений, его, если можно так выразиться, тепличная психология. И эта неприспособленность, эта тепличность целиком отразилась на злоключениях и рассуждениях пальмы.

*Attalea princeps* росла в деревяшкой бадье, питалась искусственным воздухом оранжереи. Если бы она пустила корни в здоровую почву и притом так же глубоко, как растущая вне стен оранжереи сосна, если бы она, подобно этой сосне, росла в обычных для данной широты условиях, ее бы, наверное, не смущила ни осенняя сырость, ни зимняя стужа, она бы не впала в пессимизм, не усомнилась бы в смысле исторического процесса. В данном процессе упадка и разложения интересующего нас общественного течения от него отлагались и уходили в другие группы все сколько-нибудь живые, сколько-нибудь способные ожить элементы. Поскольку же они по той или другой причине не в силах были отделяться и уйти, они гибли под гнетом безысходного пессимизма. Этот отбор лучших элементов, естественно, понизил уровень всего течения и свел его к тому пошлому водотолчению, которое характеризует рассматриваемую нами общественную группу в конце 80-х гг.

Вот какую картину рисует тот же Гаршин: „6-го были мы вместе с Васей у X; собралось на именины человек 15 молодых учителей, адъюнктов, лаборантов и пр. ученой братии. Нехорошее я вынес впечатление. Разговоры об единицах, решение геометрических курьезов, разговоры о трихлорметиле, бензоловом лоидном окисле какой-то чертовщины (я, конечно, наврал в этом названии как дикарь,— но se non è vero è bien

trovato)—это часть первая. Гнуснейшие в полном смысле слова анекдоты, соединение ужасной чепухи с бесцельной и неостроумной похабщиной (какая-то турецкая или ташкентская)—это второе. Основательная выпивка—третье. И больше ничего. Ни одного не только разумного, но хоть сколько-нибудь интересного слова. Право, какое-то одичание<sup>\*\*</sup>).

Эта картинка вводит нас прямо в то царство пошлости, в котором выросли, действовали и погрязли герои чеховских пьес—„лишние люди“.

## VI.

Вполне законченный тип „лишних людей“ сложился, как мы уже видели, к концу 80-х годов. Последующее развитие общественных отношений, особенно, новый подъём, которым ознаменовались 90-е годы, еще ярче подчеркнул те отрицательные черты рассматриваемого типа, которые так характерны для падающего, отживающего свой век течения. Как старая полусгнившая баржа, занесенная песком и тиной, неподвижно лежит на дне реки, в то время как над ней проносится благодатный поток весеннего половодья, так и наши эпигоны культурно-народнического типа не в силах были подняться из засосавшей их тины, когда над их головами запушили волны нового весеннего разлива. И жизнь прошла мимо них.

Типичная психология „лишних людей“, являясь, как мы указали выше, „надстройкой“ над их общественно-экономическим бытом—бытом вымирающего общественного типа, по необходимости окрашена в мрачный, пессимистический цвет; и как сквозь черное стекло нельзя воспринять всей яркой жизнерадостной красоты майского утра, так и сквозь оболочку пессимистического настроения „лишних людей“ не могли проникнуть бодрые голоса весны. Положение становилось безнадежно. Дальше итти было некуда. „Лишние люди“ могли только или прозябать и гибнуть или перерождаться в другие общественные типы, т. е. опять-таки гибнуть, как течение, как общественный слой. И оба эти явления—перерождение и гибель—могем мы наблюдать в среде чеховских героев.

Основная психологическая черта „лишних людей“—это разлад сознания и воли. Эта черта характера для представителей всякого отмирающего, сходящего со сцены общественного течения. Если какая-нибудь социальная группа осуждена объективными историческими условиями на гибель, она становится уже неспособной смотреть вперед, задаваясь далекими целями, ставить себе прогрессивные задачи. Ее роль по существу—консервативная. Не могут выдвигать

<sup>\*\*) Письмо к Латкину. дек. 1883 г.</sup>

жизненных задач и отдельные представители такой группы, поскольку они остаются на почве интересов характерной психологии данной группы, поскольку они не впадают в отщепенство. Неудивительно поэтому, что у наших героев разлад сознания и воли сказывается прежде всего в неспособности ставить себе цели, в отсутствии идейных жизненных задач.

— Когда идешь темной ночью по лесу,—признается Астров,—и если в это время вдали светит огонек, то и не замечашь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу. Я работаю, как никто в уезде... но у меня вдали нет огонька...

Это отсутствие огонька, отсутствие руководящей цели не может, в свою очередь, не парализовать действенной энергии, не может не вызывать полного упадка воли. Нет цели в жизни, нет воли работать, нет желания не только делать что-нибудь для ближнего, но даже любить этого ближнего. Апатия одолевает человека, осмысленная жизнь утрачивает всякую прелесть.

— С тяжелой головой, с ленивой душой, утомленный, надорванный, надломленный, без веры, без любви, без цели, как тень, слоняюсь я среди людей и не знаю: кто я, зачем живу, чего хочу?—жалуется Иванов.

— Не слушаются ни мозг, ни руки, ни ноги,—продолжает он.—Ничего я не жду, ничего не жаль, душа дрожит от страха перед завтрашним днем.

Почти теми же словами выражает свое настроение и Астров:

— Ничего я не хочу, ничего мне не нужно, никого я не люблю.

Но эта атрофия воли не сопровождается притупленностью сознания; напротив, сознание работает и работает, подчеркивая и клеймя нравственное бессилие и нравственную негодность лишнего человека.

— День и ночь болит моя совесть,—говорит тот же Иванов,—я чувствую, что глубоко виноват, но в чем собственно моя вина, не понимаю... Я умираю от стыда при мысли, что я здоровый, сильный человек обратился... в лишенные люди. Это возмущает мою гордость, стыд гнетет меня, и я страдаю.

Настоящее признание очень характерно. Иванов чувствует, что он виноват, но не знает, чем. Сознание говорит ему, что его бездеятельность, безвольность, его паразитное существование—преступление перед обществом, но ему недоступно название тех объективных причин, которые сделали его никуда негодным человеком. И он бьется, как рыба об

лед, в тщетных поисках ответа на терзающий его вопрос. „В двадцать лет мы все уже герой... и к тридцати уже утомляемся, никуда не годимся. Чем, чем ты об'яснишь такую утомляемость?“ Почему русский интеллигент „с женой замучился, с домом замучился, с именем замучился, с лошадьми замучился!“ — вторит ему Вершинин.

— Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, стары, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны... — плачет Андрей Прозоров. И все они — жалкие, беспомощные, лишние — обращаются к жизни со своим роковым „почему?“ Но действительных, глубоких причин им не дано познать, и они вынуждены вращаться на поверхности жизни, довольствуясь наивными ответами.

— Не соразмерив своих сил, не рассуждая, не зная жизни, — говорит Иванов, — я взвалил на себя ношу, от которой сразу захрустела спина и потянулись жилы... Вот, как жестоко мстит мне жизнь, с которой я боролся.

Это об'яснение, равно как и пресловутая ссылка на „среду“, которая „заела“, конечно, не дает ответа на вопрос, откуда эта „утомленность“ „лишних людей“. Почему же другие не утомляются, почему другие не надрывают спин, почему их не может заесть среда? История дает нам тысячи примеров того, какую исполинскую работу способны выносить целые общественные группы и их отдельные представители, раз этим группам самой жизнью суждено крупное будущее. Вера в идеалы, страстная жажда их осуществления, гигантская энергия в борьбе за эти идеалы — все это лишь функции той основной величины, которая определяет собой и положение данной группы в обществе, и содержание ее идеалов, и осуществимость их в историческом развитии. Но ограниченная групповая психология наших героев не позволяет им понять глубоких об'ективных причин их мелочных суб'ективных страданий.

Правда, эта же психология, благодаря своей поверхности, позволяет им утешаться близорукими, элементарными толкованиями. Познание истины, познание всей безнадежности их положения означало бы для них смерть. Об'яснение „утомляемости“, данное Ивановым, напротив, приводит их к выводам, позволяющим оправдывать жизнь. А выводы эти очень простые и ясные: если Ивановых губят то, что они взвалили непосильную ношу, то ясно, что, раз они страдают такой „утомляемостью“, следует поберечь спину и поуменьшить ношу.

— Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках, — назидательно советует Иванов, — а выбирайте себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков. Вообще, всю жизнь стройте по шаблону.

Чем серее и монотоннее фон, тем лучше. Голубчик, не воюйте вы в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены... Запритеся себе в свою раковину и делайте свое маленькое, Богом данное, дело... Это теплее, честнее и здоровее...

Ответ найден, разрешена жизненная задача „лишних людей“. Стройте жизнь по мещанскому шаблону, и ваша душа не будет утомляться, ваша совесть не будет болеть, вы перестанете быть лишним человеком. Классовый инстинкт подсказывает те самые практические правила жизни, которые с таким пафосом были отвергнуты в их теоретической формулировке. Анафема принципам буржуазного общества, и да здравствует мещансское благополучие в личной жизни. Чтобы спасти свое существование, чтобы перестать быть „лишними“, „лишние люди“ должны сбросить с себя так утомляющий их идеалистический наряд и стать мирными буржуа, как это им полагается по законам истории.

Но, найдя разрешение практической задачи, найдя правила жизни, наши герои не могут еще на этом успокоиться, нужно еще осмыслить эту жизнь, нужно осветить ее отблеском того огонька,—каков бы ни был этот огонек,—на отсутствие которого так жаловался Астров.

„Или же знать, для чего живешь, или же все пустяки, „тычин-трава“,—говорит одна из трех сестер—Маша. Но какой же смысл, какую более или менее возвышенную цель можно внести в „серенькую, заурядную“ жизнь, построенную „по шаблону“? Тут на помощь является дядя Ваня.

— Когда нет настоящей жизни, то живут миражами,— говорит он.—Все-таки лучше, чем ничего.—И вот таким миражем, существующим украсить жизнь, является особая, своеобразная теория счастья будущих поколений, ради которого „мы“ только должны жить. „Счастья у нас нет и не бывает, мы только желаем его“. Счастье—это удел далеких будущих поколений, для которых „мы“ подготавливаем его своим существованием и трудом.

— Через двести, триста, наконец, тысячу лет,—дело не в сроке,—настанет новая счастливая жизнь,—говорит Вершинин.—Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для нее живем теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим ее—и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье, и как бы мне хотелось доказать вам,—прибавляет он,—что счастья нет, не должно быть, не будет для нас... Мы должны только работать и работать, а счастье—это удел наших далеких потомков. Не я, то хоть потомки потомков моих.

На той же точке зрения стоит и Астров. Спасая от порубки леса, насаждая новые, он питается надеждой, что

„если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я“. Эта же мысль скрашивает и безнадежно печальное существование трех сестер.

— Пройдет время...—говорят они,—страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь.

Правда, неисправимый скептик Астров позволяет себе иногда высказывать сомнения на счет благодарности будущих поколений. „Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас и для которых мы теперь пробиваем дорогу,— размышляет он,— помянут ли нас добрым словом? Ведь не помянут!“

Но против этого маловерия выступает Маша со своим категорическим императивом: „Человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста“.

Эта обязательность веры является очень характерной чертой психологии „лишних людей“, но, вместе с тем, она с логической неизбежностью вытекает из всей их позиции. У здоровых бодрых поколений вера в будущее является неотъемлемой органической частицей того общего настроения, которое толкает их на борьбу и заставляет выдвигать в борьбе известные цели и лозунги. Для этих поколений, по меткому выражению Базарова, принципов не существует, а есть только ощущения. Их цельные натуры не знают противоречий между задачами и средствами их выполнения, не знают разлада между сознанием и волей, между убеждением и верой. Они и мыслят, и верят, и действуют под влиянием единого настроения, единой цепи ощущений. Не то падающие, отмирающие течения.

Их половинчатость и раздвоенность по необходимости противопоставляют принципы и ощущения, долг и желания. И долг, в силу этого, является чем то чуждым, внесенным извне каким то холодным, будущим императивом, тяготящим над человечеством, как злой рок. Он не вытекает органически из цельной психологии субъекта в полном соответствии с его волей, с его общим настроением, а является каким то внешним суровым законом, навязанным человеку какой то высшей силой. И человек-раб страдает под гнетом этого закона, но, понятно, подчиняется ему, ибо чувствует, что только в этой рабской атмосфере может прозябать его рабская душа. Он уже раскололся: между его сознанием и волей целая пропасть. Сознание твердит: ты должен работать для счастья будущих поколений; воля отвечает: не желаю, не верю.

И вот над человеком-рабом грозно встает скрижаль долга: ты должен верить, иначе ты погибнешь. И раб бро-

сается в разные идеализмы, строит безобидные фикции счастья человечества, ради которого он якобы живет, и всячески старается приукрасить свое неприглядное существование. Потому что ведь, „надо жить“, как неоднократно подчеркивают чеховские герои.

„Человек должен быть верующим“,—и разочарованный „лишний человек“, которому под стать было пустить себе пулю в лоб, находит сразу в этой философии достаточное оправдание пошлости, оправдание своего зоологического существования.

— Что же делать,—надо жить,—вздыхает он вместе с Соней и продолжает жить за счет будущих поколений.

## VII.

Примирение с житейской пошлостью—потому что „надо жить“; скрашивание этой пошлой жизни фикцией счастья будущих поколений, потому что „для нас счастья не должно быть“; обязательность идеалистической формулы: „человек должен быть верующим“—вот те положения, которыми защищает свое право на существование рассматриваемое нами вымирающее течение. Правда, отвлеченные моральные формулы не могут заглушить голос большой совести, но они прекрасно могут оправдать пошлое мещанское существование. Они не могут заполнить пропасти между сознанием и волей, но они могут замаскировать эту пропасть в глазах нетребовательного к себе человека—раба. И при наличии этих примирительных формул не раз, конечно, будет бунтоваться большая совесть не опошлевшего еще окончательно „лишнего человека“. Не раз будет он, после долгих разговоров о счастье „потомков наших потомков“, биться головой об стену и с отчаянием восклицать: „зачем мы живем, зачем страдаем? Если бы знать, если бы знать!“ Не раз еще дядя Ваня отвернется от своих счетов и будет с воплем восклицать: „Как я проживу эти тринадцать лет? что буду делать, чем наполню их?“

Но если примирительные формулы не удовлетворят иного скептика или пессимиста, они удовлетворят десятки и сотни обезличившихся Ионычей или Андреев Прозоровых, которые разве в большие праздники и то под секретом будут вздыхать: „я вижу свободу (в „будущем“,—конечно), я вижу, как я и дети мои становимся свободны от праздности, от квасу, от гуся с капустой, от сна после обеда, от подлого тунеядства“. И с полной верой в то (ведь, „человек должен быть верующим“), что некое „будущее“ само позаботится о том, чтобы освободить „лишних людей“ от их праздности и тунеядства, т. е. от них же самих, Прозоровы погрязают

в болоте, барахтаются в самой тине мещанского благополучия, окруженные своими достойными женами, гусем с капустой, такими же, как они, сослуживцами и оравой подлежащего освобождению потомства. И они правы, действительно, в одном: будущее устранит „противное“ настоящее. Будущее, т. е. развитие общества, освободит не „лишних людей“ от гуся с капустой, конечно, а все общество от „лишних людей“, этого пережитка, держащегося еще лишь, благодаря поздоровой тепличной атмосфере.

„Лишние люди“, как общественная группа, уже теперь исчезают, частью вымирая, частью переходя в другие общественные группы. Это бегство из родной группы намечается, хотя очень слабыми чертами, и у Чехова. У героев его пьес оно выражается в некотором пресечении в их характерную психологию таких черт, которые, развиваясь и пуская корни, способны занять первое место, наложить на всю психологию своей отпечаток и придать ей своеобразную окраску, характерную для другой общественной группы. Таких разлагающих черт можно отметить в общем три, и они дают начало трем различным направлениям, в которых идет их развитие и разложение основной психологии. Повторяю, у Чехова этот процесс только намечен, и нам приходится освещать его аналогиями, взятыми из литературы и наблюдениями над жизнью.

Мир „лишних людей“ — это мир бездеятельного прозябания, мир праздности и тунеядства. Естественно, что, как реакция против этой пассивности и апатии, выдвигается принцип активности, входящий, как разлагающее начало, в среду и в психологию „лишних людей“. Но этот принцип выступает в трех видах: художественное творчество, производительный труд, общественная деятельность.

Еще задолго до того, как Чехов дал свои типы „лишних людей“, в русском обществе начал замечаться интересный процесс в среде так называемого прогрессивного слоя общества, — процесс, вызванный и обусловленный всеми изложенными выше перипетиями русской общественной жизни. Обнаружилось бегство разочарованных, становившихся уже „лишними“, людей от общественных идеалов и общественного служения к эстетическим идеалам и служению „чистому“ искусству. Процесс этот, не зарегистрированный, конечно, никакой статистикой, не поддающийся учету во всем его объеме, можно было, тем не менее, ясно наблюдать по самому чуткому указателю — литературе. Писатели, заявившие себя в 70-х годах „тенденциозными“, „с направлением“, т. е. по просту говоря, писатели — общественные деятели, начали, мало-по-малу перестраивать свои лиры для более „песенных“ более „возвышенных“ и — надо признать — в большинстве

случаев, менее художественных песен. Всем памятны, конечно, характерные метаморфозы, произошедшие в 80-е годы с такими писателями, как напр., Минский и ему подобные. Общественная атмосфера подготовляла почву для таких поворотов, и нет ничего удивительного, что элементы, мало устойчивые в общественном отношении, шли по этой „линии наименьшего сопротивления“. Нет, конечно, ничего удивительного и в том, что подрастающие поколения, выросшие в среде „лишних людей“ и неспособные сбросить с себя гнет этой нездоровой обстановки, естественно, влеклись в сторону того же эстетизма, в то время, как страна, казалось, требовала наибольшего притока сил как раз к другим отраслям деятельности.

Это тяготение известной части народолюбивой некогда интеллигенции отмечено и у Чехова, хотя, надо признаться, лишь легкими штрихами. Культ красоты остается единственным увлечением врача Астрова, после того, как он растерял все свои идеалы, „огоньки, надежды“. „Я никого не люблю и уже не полюблю“, — признается он. — „Что меня еще захватывает, так это красота. Не равнодушен я к ней“. Это почти буквальное повторение слов г. Минского, певшего, — когда он тоже очутился в положении Астрова, — что „нет на свете любви, нет на свете добра, только есть красота“... Та же эстетическая подкладка проглядывает и сквозь любимое дело Астрова — лесоводство. „Русские леса трещат под топором, — жалуется он... исчезают безвозвратно чудные пейзажи... Надо быть безрассудным варваром, чтобы жечь в своей печке эту красоту... С каждым днем земля становится все беднее и безобразнее“... Еще полнее высказывает эстетическую философию Астрова Соня, передающая его слова: „В странах, где мягкий климат, мягче и нежнее человек; там люди красивы, гибки, легко возбудимы, речь их изящна, движения грациозны. У них процветают науки и искусства, философия их не мрачна, отношения к женщине полны изящного благородства“.

Но если у Астрова, как бывшего общественного человека проскальзывает иногда, как отголосок прошлого, мысли о благе и счастье людей, хотя бы только отдаленных поколений, то уже совсем свободны от этих „сомнений и колебаний“ молодые герои „Чайки“, вкладывающие всю свою жизнь в увлечение искусством и бегущие от общественных запросов в художественное творчество. Это второе поколение окончательно разделяется с „иллюзиями“ отцов и окончательно уходит из того мира мечтаний о благе человечества, в котором „лишние люди“ пережили столько надежд и столько разочарований.

Но если художественное творчество, по самому своему характеру, доступно лишь ограниченному кругу, лишь немно-

гим „избранным“ из многих „званных“, то несравненно ниже по своей доступности другая дорога—дорога, выводящая из среды „лишних людей“ через производительный труд. Труд в самом буквальном и физическом значении становится каким-то идеалом, какой-то панацеей от всех бед. Работать, работать!—твердят размагниченные интеллигенты, чувствующие, как у них есть еще маленькая надежда выбраться из всезасасывающего омута пошлости и избегнуть участия „лишних людей“. „Хоть один день в моей жизни поработать так, чтобы вечером прийти домой, в утомлении повалиться на постель и уснуть тотчас же,—мечтает Тузенбах.—Рабочие, должно быть, спят крепко“. К несчастью для нашего героя, он так далек от настоящей жизни настоящего рабочего, что рисует себе, как идеал, такие условия жизни, из которых всеми силами старается вырваться всякий мало-мальски сознательный рабочий. Но пропасть, образовавшаяся с течением времени между „интеллигенцией“ и „народом“, заставляет дряблую, опустившуюся интеллигенцию представлять себе быт передовых слоев современного „народа“ в каких-то заманчивых, фантастических очертаниях.

До какой наивности доходит фантазия измотавшихся „без дела и без отдыха“ лишних людей, лучше всего показывают мечты Ирины: „Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, и в этом одном заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги. Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни, или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге... Боже мой, не то, что человеком, лучше быть волом, лучше быть простой лошадью, только бы работать, чем молодой женщиной, которая встает в двенадцать часов дня, потом пьет в постели кофе, потом два часа одевается... О, как это ужасно“. Что касается последних слов, это бесспорная истина. Действительно, лучше быть полезным животным, чем бесполезным человеком, но прелести труда Ирина изображает вполне с точки зрения упомянутой „молодой женщины“. Едва ли особенные „восторги“ испытывает рабочий от того, что он чуть свет встает и весь день бьет камни на мостовой. Да и „смысл“ жизни представляется ему, вероятно, не в одном лишь разбивании камней днем и крепком сне ночью... Младенческое представление Ирины о труде весьма характерно для психологии, цепляющейся за труд, как за спасение от бессмысленной жизни. „В жаркую погоду так иногда хочется пить,—говорит Ирина,—как мне захотелось работать“. Вот именно: для нее труд то же, что стакан воды в летнюю жару. Это не нормальная, повседневная потребность или необходимость, а исключительное средство против исключительного состояния. Труд вовсе

не „счастье“ и не „восторг“, — по крайней мере, для тех, кто вынужден трудиться.

Поэтому естественно, что попытка „лишних людей“ спастись трудом приводит их к разочарованию.

Но есть еще третий выход из среды „лишних людей“, выход, правда, тоже лишь в общих контурах набросанный Чеховым. И на пути к этому выходу стоят странный, полукаррикатурный „вечный студент“ и Аня („Вишневый сад“). Это выход самый верный, но и самый трудный, невозможный для какого-нибудь дяди Вани или Иванова, однако, возможный для молодых поколений, выросших в этой гнилой среде, но еще не заеденных ею. У порога этого выхода нужно сжечь свои корабли, как некогда сжигали их герои рассказов Новодворского, нужно разлюбить вишневые сады и, вырвав поэзию и мысль из очарованной обстановки этих „молоком облитых“ вишневых садов, нести ее в обстановку труда, как спасительный фермент. Труден этот шаг, ибо это значит отколоться безвозвратно от родной среды, отряхнуть навсегда ее прах от своих ног.

„Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны, как ветер“. И только тот, кто окажется в силах исполнить этот совет Трофимова, сможет вырваться из заколдованного круга праздности, бесполезности, тунеядства.

„Пришло время, — говорит Тузенбах, — подвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скучу“. Да, время пришло. Новое, молодое, здоровое время, с новыми, великими задачами, с новыми, гигантскими запросами. И этому времени нужны новые люди. Не жалкий, забитый, лишенный веры в себя и в жизнь поющий раб-человек, а сильное, гордое, могучее своей верой поколение совершил великую задачу обновления жизни. Новому времени нужны новые люди. И они придут, они вырастут из земли, придут с гордым Базаровским вызовом судьбе, с его жаждой борьбы.

А „лишние люди“? Общественная волна безжалостно будет сметать их, поскольку они не сумеют во-время оживить к новой жизни. И, уносимые бурным потоком, они будут, конечно, цепляться за жизнь, за попытку, животную жизнь — их единственное сокровище. Но все эти дяди Вани, все эти „сестры“ с их кругом, все эти владельцы „вишневых садов“, осужденные судьбой на гибель — все они с их мелочными желаниями, с их бесстрастными порывами, с их ничтожными

мыслишками, с их жалкими страданиями не вызовут жалости или сочувствия в людях, поставивших своим девизом: вперед и выше. И когда такие жалкие существа, цепляясь за жизнь, стараются оправдаться словами Сони: „Что же делать, надо жить!“, мы можем возразить им только вместе с Ницше: „почему надо?“.

---

ИЗ ИСТОРИИ НОВЕЙШЕГО РОМАНА  
(ГОРЬКИЙ, КУПРИН, АНДРЕЕВ)



# Из истории новейшего романа (Горький, Куприн, Андреев).

Максим Горький.

## I.

Господа, если к правде святой  
Мир дорогу найти не сумеет,  
Честь безумцу, который навеет  
Человечеству сон золотой.

Таким безумцем, пожелавшим навеять человечеству золотой сон о святой правде, явился сам Максим Горький. В те грустные дни, когда на всей нашей общественности еще лежал тяжелый покров реакции восьмого десятилетия, когда на поверхности жизни уныло бродили вялые, полянившие чеховские типы, а то новое, бодрое, сильное, что уже народилось где то в глубине, еще скрывалось в недрах общества,—в эти грустные дни М. Горький выступил дерзким глашатаем безумства храбрых. И с тех пор вся деятельность М. Горького—и как художника, и как публициста—представляет одно сплошное искашение правды,—того нравственного начала, которое осмыслило бы человеческое общежитие и сделало бы жизнь людей разумной и счастливой.

По содержанию своего творчества М. Горький явился отрицателем и вместе с тем преемником А. Чехова. На долю Чехова выпало изобразить русское интеллигентское общество в худшую эпоху его опошления и упадка. И он рисовал это общество с горькой, страдальческой улыбкой врача, пишущего историю болезни неисцелимого больного. Чехов хорошо знал опошлившуюся душу своего современника, но он сам не видел исхода, он не верил в те силы, которые одни могли обновить русское общество. Правда, Чехову приписывают слова, что „через десять лет у нас будет конституция“, правда, что в последних произведениях он уже предсказывал бегство свежих, молодых элементов от гнусной действительности в новую жизнь. Но это было лишь робкое, неуверенное предчувствие поэта. Первые побеги новой жизни, начавшие пробивать себе путь на поверхность общественности в половине 90-х годов прошлого столетия, были так новы и чужды психике старого интеллигента, а в том

Из истории новейшей русской литературы, сборн. изд. «Звено»,  
М. 1910 года.

числе и самого Чехова, что понять и оценить их, а тем более поверить им они не могли. Только впоследствии, когда эти побеги окрепли, стали могучим деревом, „отцы“ интеллигентии оценили их; но понять их и поверить их правде они и тогда не смогли.

Чтобы услышать слабый еще голос зарождавшейся новой жизни, надо было в те годы внутреннего обновления быть самому молодым душой. Для этой миссии надо было специально родиться. И такой художник родился: это был — Максим Горький. Он появился в момент начинавшейся великой ломки нашей общественности, став, таким образом, на грани двух поколений: он протянул руку жизнеспособным элементам вчерашнего дня — тем самым беглецам чеховского общества — и показал им перспективы занимавшегося завтрашнего дня, — радужные, яркие, быть может, преувеличенно яркие, перспективы. Ибо на его долю выпало быть вестником назревавшей бури.

С половины 90-х годов в русской общественности начал обнаруживаться давно подготавлившийся перелом. Это был переход от земледельческой, деревенской, барско-крестьянской Руси к Руси промышленной, городской, буржуазной. Экономический переворот постепенно выдвинул на видное место новый общественный класс — пролетариат, занявший сразу характерное для него обособленное и самостоятельное место в капиталистическом обществе. С первых же дней своего выступления на историческую арену этот класс провозгласил себя носителем революционного начала и в социальной и в политической жизни. В воздухе запахло грядущей бурей.

Эти глубокие социально-экономические превращения, в свою очередь, воздействовали на умы тех слоев, которые более или менее тесно связали свою судьбу с судьбой рабочего класса. И прежде всего они отразились на революционной части интеллигентии. Начала складываться характерная идеология пролетарского движения.

Но если политическая идеология приняла вполне определенные формы, точно соответствующие смыслу, направлению и задачам рабочего движения (марксизм), то нельзя того же сказать про эстетическую идеологию. Эта область человеческого творчества, по самому свойству своему поэтического отображения жизни, менее всего точно отражает действительность и более всего запаздывает с этим отражением. Художественное творчество, носящее определенные классовые черты, складывается лишь тогда, когда сам класс уже значительно оформился и сознал свою самостоятельность. На заре движения, когда только начинают формироваться первые кадры будущего боевого класса

и умы охватывает еще неясная, расплывчатая, хаотическая идея борьбы, эстетическая идеология проникнута лишь неоформленными, радостными предчувствиями и чаяниями, преисполнена сознания избытка накопляющихся сил и жажды дать исход этим силам.

Не чувствуя еще под собой прочной, реальной общественной почвы, эта эстетическая идеология сама чужда реализма. Исходя из предчувствия назревающего будущего, она окрашена элементами фантастики, она романтична. Как тонко замечает в одном месте К. Маркс, „в период, когда пролетариат еще очень неразвит, а, следовательно, и сам еще представляет свое положение фантастически,—фантастическое изображение будущего общества возникает из первого, полного предчувствий, стремления пролетариата к совершенному преобразованию общества“. Эта наклонность к фантастике—в сфере ли политического или художественного строительства—проявляется в искусстве, как наклонность к романтике. Неудивительно, что М. Горький, явившийся выразителем еще слабо дифференцированной пролетарской массы, выступил под флагом романтизма. И хотя за семнадцать лет, протекших со временем „Макара Чудры“, быстрое развитие пролетариата коренным образом изменило содержание творчества М. Горького, превратив его в открытого идеолога рабочего класса,—все же налет романтизма сохранился в его поэзии и по сей день.

Поэт-романтик не просто воспринимает в художественных образах окружающий его мир, а воспринимает его в преувеличенных линиях, в сгущенных красках, в потенцированных формах. И воспроизводит он эти эстетические образы и эмоции не так, как воспринял их, а в свою очередь фантастически преувеличенно. Таким образом, творческая работа романтика сопровождается двукратным потенцированием линий, форм, красок, свето-теней, перспективы. Отсюда образы романтической литературы необычно выпуклы, ярки, красочны, легко подкупают своей несбыточностью, вызывают более сильные эмоции, чем реалистические образы,—хотя последние сопровождаются более спокойными и более глубокими переживаниями.

Таким романтиком и вступил в литературу М. Горький. Вместо грубой реалистической правды, он принес с собой „золотой сон“,—такой безумный золотой сон, что от него закружилась голова у интеллигенции. И когда, наконец, и сама жизнь и тот же М. Горький напомнили интеллигенции о реальной правде,—она все еще не могла отряхнуться от волшебного сна.

Литературную деятельность М. Горького можно разбить на три периода. Первый—это период так называемых „бо-

сяцких" рассказов; сюда же следует причислить и его первые опыты больших романов ("Фома Гордеев", "Тroe"), так как основная психология их та же, что и в первых рассказах. Здесь красной нитью проходит протест личности против неправоты, неустройства, нелепости существующего общественного уклада (формула: „жизнь узка—а я широк"). Человеческая личность для автора—все, между тем, строй современного общества стесняет ее, гнетет, губит. Автор, естественно, идет на поиски той силы, которая могла бы способствовать устроению жизни и освобождению личности. Он не находит этой силы ни в среде отверженных—босяков, ни в среде буржуазии ("Фома Гордеев"). Его взгляд обращается к интеллигенции—это второй период его творчества—но тоже напрасно. И он беспощадно бичует безвольную, жалкую, неспособную на смелый порыв интеллигенцию, непонимающую даже того народа, о котором она якобы печется. Этот второй период охватывает, главным образом, драматические произведения автора до пьесы "Враги", с которой наблюдается поворот, особенно ярко сказавшийся потом в романах "Мать" и "Исповедь". Это третий период: автор обрел строителя жизни в рабочем классе. Такова схема развития творчества М. Горького, неутомимого искателя правды. На детальном разборе мы ознакомимся ближе с его исканиями.

## II.

Первые рассказы, с которыми предстал перед публикой М. Горький, немало способствовали неправильному взгляду на истинную психологию автора. Рисуя ряд сильных, гордых, безжалостных людей, умеющих отстаивать жизнь и наслаждаться жизнью, изображая могучие чувства, сильные страсти, смелые порывы, М. Горький скоро приобрел ошибочную репутацию какого-то певца сверхчеловечества. Далекая от этих романтически-сильных страстей, но жадная до них, читающая публика усмотрела в рассказах Горького идеализацию не самой этой гордой свободолюбивой силы, а носителей ее—босяков. Читателю не по плечу были эти могучие переживания сами по себе, он мог воспринять их только, как чужие переживания, ослабленные расстоянием, т. е. брать их вместе с предполагаемыми носителями их. В результате—неудержимый культ босяков.

Между тем, подобная оценка М. Горького, как идеализатора босяцкого пролетариата, глубоко ошибочна. Указанные нами выше социальные условия породили в душе М. Горького те смелые, сильные, свободные чувства и мысли, которые неизбежно сопутствуют всякому революционному перевороту, без которых психологически немыслима сама революция.

Правда, революционная психология М. Горького в то время была еще мало оформлена, неупорядочена стройным мировоззрением, недисциплинирована, анархична. Но основное настроение его было ярким знаменем назревавшей революции.

Как художник, М. Горький стремился воплотить свои переживания в живые образы, а для этого ему необходим был реальный, конкретный материал, который нельзя сочинить, который дает сама жизнь. С своими личными чувствами и мыслями подходил он, как с мерилом, к различным общественным слоям, с которыми встречался в своей жизни, ища повсюду носителей этих мыслей и настроений. И здесь весьма важно отметить, что в реальной жизни он таких носителей нигде не нашел. Он нашел только, что в презираемой всеми среде отверженных можно встретить — наряду с пороками и преступлениями — такие ценные моральные черты, которые вы напрасно искали бы в так называемом культурном обществе, имеющем в своем распоряжении богатство, науку, воспитательные учреждения и даже полицию.

Вот перед вами хищник и вор, пропойца и в любой момент возможный убийца, Челкаш — а взгляните, какая у него гордость, какое презрение к деньгам, к тем самым деньгам, из-за которых „образованные“, „интеллигентные“ люди перегрызают друг другу горло. Или возьмите старуху Изергиль — какое богатство переживаний, какая глубина чувства у этой женщины, имеющей право с презрением взглянуть на бесстрастную, худосочную любовь „культурных“ людей. То же Мальва, то же Марька из „На плотах“. Присмотритесь к бродяге Промтovу („Проходимец“), даже этот паразит может гордиться тем, что он, хоть, может быть, и „семишник“, зато не „пятак“, как все. Те духовные черты, которые должны бы явиться украшением человека, — смелость и гордость, свободолюбие и презрение к власти денег, сильные чувства и искренние порывы — все это растеряно и забыто образованным обществом. К позору культурного мира, эти черты можно встретить лишь среди отбросов общества. Правда, эти черты, — разрозненные и нередко парализуемые пороком — не делают из бояков и хулиганов достойных представителей вида „человек“, но характерно уже то, что эти ценные черты встречаются только в их среде.

Такова точка зрения М. Горького в этих рассказах первого периода. Но было бы ошибкой и мы получили бы неправильное представление о психологическом облике автора, если бы подумали, что только те черты, которые выражают силу, гордость, смелость, презрение и ненависть к мещанскому благополучию, одним словом, черты мощных хищников, дороги ему и только их умеет он находить в среде своих героев-бояков. Напротив, эти черты вскрывает он, так ска-

зать, по побуждениям об'ективного, общественного характера, его же суб'ективные, интимные симпатии тянут его к другим психологическим чертам: именно к проявлениям доброты, альтруизма, мягкости, гуманности. Ибо М. Горький до мозга костей гуманист.

С какой любовью отмечает он благородные, гуманные черты у своих отверженных. Возьмите, например, его отношение к Емельяну Пиляю. „Знаешь—признается этот закоренелый бродяга, рассказав о том, как однажды спас от самоубийства девушку,—лучше этого у меня в жизни-то за все 47 лет ничего не было“. Вспомните трогательный рассказ „Однажды осенью“ или „Дело с застежками“. Вдумайтесь в отношение автора к „Зазубрине“ и к тупой компании из рассказа „Скуки ради“.

Если вы распределите на две серии рассказы М. Горького: с одной стороны, те, в которых преобладает гордое, дерзкое, смелое, с другой—те, где изображено доброе, мягкое, человечное, только тогда вы получите ясное впечатление о самом авторе. В авторской психологии явно преобладают эти гуманные черты, и если их так плохо подметила читающая интеллигенция, увлекшаяся „демоничностью“ боярков, то это потому, что они слишком близки и знакомы ей, а те, другие слишком заманчиво новы и ярки. „Зачем же мне направлять человека по дурному пути?—спрашивает чабан в рассказе „Мой спутник“.—Уж лучше я его по тому пошлю, которым сам иду. Может быть, встретимся, так уже знакомы будем. Часом, помочь друг другу придется“.—„Я был в восхищении от старого чабана и его жизненной морали“,—прибавляет от себя рассказчик, за которым чувствуется сам автор. Эта жизненная мораль гораздо роднее М. Горькому, чем та вычурная, полубутафорская, антиобщественная мораль Челкашей, которой так увлекались наши доморощенные сверхчеловеки и которую пытались они навязать автору.

Однако, самый факт, что М. Горькому приходилось воплощать свои настроения в бояцкий мир, не мог не отразиться на психологии автора и ее развитии. С одной стороны, указанная нами некоторая анархичность мышления, с другой—эта творческая связь с анархической бояцкой средой образовали какой-то порочный круг, из которого не скоро выбилась мысль М. Горького. Правда, нельзя отрицать, что, благодаря этому, между художественными переживаниями автора и изображаемой им средой установилась прочная гармония, позволившая М. Горькому подняться на такую художественную высоту, какой он больше не достигал в своих позднейших произведениях, нередко более глубоких по замыслу и более интересных в социологическом отношении.

Весь рассматриваемый нами период деятельности М. Горького окрашен в цвет анархического индивидуализма. Формула: „жизнь узка, а я широк“ разрешается путем восстания личности против общества—в защиту своей же личности, и разрешается она большей частью жаждой дикого разрушения. Вот философия этого протesta в изложении Гришки Орлова: „Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей и жидов перебить... всех до одного. Или вообще что-нибудь этакое, чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... И сказать им: Ах, вы, гады. Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное и больше ничего“. В этом примитивном анархизме нет элементов общественного протesta против общества, или хотя бы личного, но во имя широких общественных интересов, нет также элементов переустройства общества на лучших началах. Переход от анархического бунта к более вдумчивому анализу совершается лишь постепенно к концу названного периода. Заметнее всего оказывается он в романе „Фома Гордеев“, где уже имеются попытки разобраться в различных типах буржуазного общества—от хипников первоначального накопления, вроде Игната Гордеева или Анания Щурова, до европейского буржуа Тараса Маякина, и от пропоинт боярков до передовых рабочих. Но и здесь искания Фомы разрешаются анархическим отталкиванием от общественного протesta и общественной работы. Тем не менее, за это время мысль автора постепенно эволюционировала, и прежнее романтическое представление о мире боярков слаживалось, принимало более реалистические тона. В результате этой эволюции явилась пьеса „На дне“, где прежние герои—„бывшие люди“—оказываются несчастными, жалкими, выбитыми из колеи и сломанными жизнью людьми. „На дне“—это окончательная ликвидация первого периода творчества М. Горького. Здесь сказано последнее слово анархо-индивидуалистического протesta против общества, здесь полнее всего формулированы искания автора этого периода, здесь же заложены элементы второго периода его деятельности.

Пьеса „На дне“—одно из самых значительных произведений М. Горького—играет очень важную роль в развитии самого автора. С одной стороны, она подводит итог всему периоду боярских рассказов, но не простой, механический итог, а ту моральную и общественную оценку, к которой автор пришел в результате этого периода. Ко времени появления „На дне“ автор уже сказал свое „дерзкое“ слово культурному обществу, романтические боярки сыграли этим свою роль. Можно было снять с них театральные костюмы, —а тогда оставались они тем, чем были в реальной жизни: жалкими, несчастными, исковерканными людьми. Теперь,

после того как они бросили обществу свою—вернее, авторскую—„правду“, стало ясно, что они сами нуждаются в словах правды, но не той жестокой, реальной правды, которая убила бы в них последнюю надежду. Им необходима исцеляющая правда жизни. И автор подсыпает к ним Луку—этого шарлатана гуманности, бессмертный тип лживого успокоителя страдающих, жаждущих забвения во лжи.

И тут перед нами открывается другая, весьма важная сторона пьесы „На дне“: это—то искание правды, которое отныне становится в центре литературной деятельности М. Горького. Обездоленным и отверженным несет он словами Луки призрачную правду фантазии, противопоставляя ее реальной правде жизни:

...Если к правде святой  
Мир дорогу найти не сумеет,  
Честь безумцу, который навеет  
Человечеству сон золотой.

Это евангелие миражей, которое со временем Христа несли обездоленным массам все реформаторы, проскальзывают у Горького с самого начала его деятельности. Еще в рассказе „О чиже, который лгал, и о дятле—любителе истины“ (1892 г.) чиж говорит: „Я солгал, да, я солгал, потому что мне неизвестно, что там за рощей, но ведь верить и надеяться так хорошо... Я же только и хотел пробудить веру и надежду,—и вот почему я солгал... Он, дятел, может быть и прав, но на что его правда, когда она ёжнем ложится на крылья и не позволяет высоко взлетать в небеса?“ Теми же словами десять лет спустя говорит Клещ („На дне“): „Какая правда? Где правда? (трясет руками лохмотья на себе). Вот—правда! Работы нет, силы нет. Вот—правда. Пристанища!.. Пристанища нет. Изыхать надо... Вот она, правда! Дьявол! На... на что мне она... правда?“ Это бегство от непривычной действительности: сильных—в небеса („Песня о соколе“), слабых—в царство фантазии и есть единственный выход и, вместе с тем, примирение с жизнью, какие дает М. Горький в первый период своей деятельности.

### III.

Романтическое настроение, легшее в основу этого отношения М. Горького к безнадежно погившим пасынкам современного общества, рано или поздно должно было привести его во враждебное столкновение с типичной русской интеллигенцией того времени, чуждой фантастических полетов и совершенно не тяготевшей к „безумству храбрых“. И действительно, через все рассказы Горького красной нитью проходит недоброжелательное отношение к интеллигенции.

В „Озорнике“ он зло бичует лицемерие газетных либералов, в „Варенъке Олесовой“ обнажает поганую дупонку некоего приват-доцента, в „О чорте“ рисует тупость интеллигентной публики в ее отношениях к „любимому“ писателю, даже в чисто бояцких рассказах бояки из интеллигентов оказываются гораздо пошлее, гаже, жесточе, чем их собратья из простонародья.

Это недобродое чувство к интеллигенции стало доминирующим и на время заняло первое место после того, как М. Горький разделялся в „На дне“ с боязками. Его критика интеллигенции заполняет второй, собственно говоря, переходный период. В целом ряде пьес—„Мещане“, „Дачники“, „Варвары“, „Дети солнца“—он изображает буржуазно-интеллигентскую среду, подчеркивая ее скучную, пошлую, никому не нужную жизнь. Даже те из них, которые искренне желают блага народа, настолько далеки от него, настолько не понимают его и чужды его жизни, что своей благотворительностью только оскорбляют и отталкивают его. Однако, не следует забывать, что действительно альтруистические, полные готовности самопожертвования порывы молодежи, вышедшей из той же буржуазно-интеллигентской среды, М. Горький умел и тогда ценить и окружал нежной любовью (см. типы из „Врагов“).

То же отрицательное отношение к интеллигенции выражалось и в нашумевших в свое время статьях „О мещанстве“, печатавшихся в конце 1905 г. в „Новой Жизни“, в которых М. Горький обвинил в мещанстве всю русскую литературу, не исключая общепризнанных корифеев, не исключая „даже“ Достоевского, что вызвало особенный вопль наших доморощенных жрецов богочеловечества. Конечно, в статьях М. Горького многое было построено на недоразумении, ибо русское слово „мещанство“ не совпадает с европейским „буржуазность“, а носит еще привкус поплого, ограниченного, тупого, в чем едва ли хотел обвинить русскую литературу М. Горький. Но тот вопль, который подняли по этому поводу защитники „культуры“, упрекавшие М. Горького в хулиганстве, показывает, что удар был направлен метко.

В основе этой вражды М. Горького к интеллигенции лежит, конечно, не формальное различие между романтикой автора „Песни о соколе“ и исконным реализмом русской интеллигенции. Причина ее гораздо глубже. Сам выйдя из того ада, который называется у нас жизнью народной, пройдя все девять кругов мытарств и страданий, полагающихся, по законам нашего общества, на долю среднего пролетария, М. Горький вынес оттуда крик бездонного горя и жгучую ненависть к виновникам этого горя. И тут-то на благоустроенной поверхности жизни с негодованием заметил

он, что между страдающими низами и торжествующими верхами стоит плотной толпой особый слой—пресловутая интеллигенция, успевшая к тому времени опуститься, разжиреть, опошлиться и устроить себе сытое мещанское благополучие. И хотя этот слой сохранил еще старую привычку говорить по воскресным и праздничным дням о „бедном народе“, и о своей „больной совести“, то за шесть дней в неделю он усердно помогал своей работой „верхам“ держать „низы“ в кабале и увековечивать их безмерное страдание. И с ненавистью бросил он дерзкие слова этой интеллигенции, продавшей свое почетное социальное первородство за чечевичную похлебку материальных благ. Это враждебное отношение М. Горького к интеллигенции заставило его также особенно подчеркивать бояцкий вопрос: после ликвидации этого вопроса он непосредственно обратился против интеллигенции в указанном ряде пьес, пока назревающие события общественно-политической жизни и последовательное развитие мысли самого автора не привели его к пониманию, что единственным носителем начал устроения общества и уничтожения безысходного горя угнетенных масс является пролетариат. С искренностью, характерной для этого цельного человека и художника, М. Горький открыто стал на сторону рабочего класса и социал-демократии.

Представители рабочего мира проскальзывают и в ранних рассказах М. Горького, например, в рассказе „Озорник“, или в романе „Фома Гордеев“, или в пьесе „На дне“ (Клещ). Но все эти лица не являются носителями специфической психологии и идеологии, они ближе все к тем же боякам, чем к доподлинному рабочему пролетариату. Более определенные психические черты пролетария проявляет уже Нил в „Мещанах“. Здесь больше нет бессильной анархической жажды разрушения, нет. „На все средства дупи моей—говорит Нил,—удовлетворю мое желание вмешаться в самую гущу жизни... месить ее и так, и этак, тому помешать, этому помочь... вот в чем радость жизни“. Однако, впервые настоящие промышленные рабочие выступают у М. Горького в пьесе „Враги“. Это начало третьего периода.

Самыми значительными трудами М. Горького этого периода являются повести „Мать“ и „Исповедь“, знаменующие в свою очередь две стадии в развитии мысли автора и заслуживающие особого внимания. Первая повесть ярче всего отражает перелом в жизни и мышлении М. Горького, в силу которого он примкнул к рабочему движению, вторая—зnamенует новый поворот в сторону так называемого богоискательства.

Здесь мы наблюдаем обычное отстаивание художественного мышления от научного: еще в 1905 году М. Горький

примкнул к рабочему движению и работал в социал-демократической прессе, но только в 1907 г. оформились и сложились в повесть из жизни рабочих его новые переживания. И здесь же оказались характерные особенности индивидуальности автора. Желая нарисовать широкую картину пробуждения самосознания среди рабочих и наростания рабочего движения, М. Горький выделил несколько типичных фигур, на истории развития которых показывает он все перипетии борьбы современного сознательного пролетария с предпринимателями, с стоящей на стороне последних властью, наконец, с своими же несознательными товарищами. Действующим лицом повести является не рабочая масса, а Павел Власов, хохол, Рыбин, Весовщик и прежде всего мать Власова, Ниловна. Рабочая слободка так же, как в других эпизодах деревня, является лишь декоративным фоном, правда, усиливающим и оттеняющим действия отдельных лиц. Даже в массовой сцене рабочей манифестации толпа обесцвечена по сравнению с кучкой отдельных личностей. Прежний индивидуализм автора сказался и здесь на характере построения повести.

Весьма замечательной чертой этой повести является то, что главным действующим лицом в ней автор сделал не самих непосредственных активных деятелей движения—Власова, Весовщика и пр., а мать Власова. Художнику, особенно художнику, не успевшему еще вполне отделаться от недавнего романтического увлечения, более интересной, более поэтической фигурой должна была казаться старуха-мать, воскресающая силой любви из забитого состояния, берущая на себя тяжелое бремя проповеди сыновьего учения, идущая на склоне лет на такие жертвы, которые сломали уже не одну молодую и сильную натуру. В домике Власовых висела на стене картина Христа, идущего после воскресения в Эммаус. Насколько поэтичнее, заманчивее образ матери, воскресшей ради мученика-сына, чтобы разделить с ним трудное бремя проповеди благой вести?

Однако, такое построение повести, при котором героем является мать—при всей поэтичности основного образа,—страдает крупными недостатками, весьма существенно отразившимися на художественных достоинствах повести.

Возрождение Ниловны и вся ее деятельность определяются всецело и исключительно любовью к сыну. Правда, мало-по-малу она проникается верой в дело сына, однако, движущим моментом у нее остается все-таки любовь к нему; любовь же к делу—момент вторичный, производный. Когда сына арестуют, она продолжает делать его дело,—именно его дело, а не общественное. Даже в заключительной сцене повести, когда она на глазах пришедших арестовать ее жан-

дармов разбрасывает прокламации, она разбрасывает не что иное, как речь сына на суде.

Благодаря этому, центр внимания переносится с действительных, непосредственных деятелей на деятеля посредственного. Психологическим двигателем в развитии повести является не активная, борющаяся воля рабочих, а материнская любовь матери одного из них, побуждающая ее действовать заодно с ними. С середины повести главнейшие действующие лица—Власов, хохол, Бесовщиков, а потом и Рыбин—надолго сходят со сцены, и героем повести всецело делается мать. Благодаря этому, повесть в значительной мере перестает быть повестью о помыслах, чувствах и делах пробуждающихся к сознанию рабочих и превращается в повесть материнского сердца. Общественный элемент подчиняется личному.

В этом, конечно, нет еще ничего недопустимого или противохудожественного. Напротив, такая постановка вопроса принесла бы даже некоторый лирический момент в повесть. Минусы заключаются не в этом. Главным недостатком повести является то, что хотя и можно себе представить такую мать, но таких матерей, вообще говоря, не бывает. Они могут существовать, как индивидуальные явления, но не как типичные. Они не характерны для данной среды и данного времени. И это обстоятельство значительно обесценивает образ матери. Задавшись целью нарисовать образ идеальной матери, М. Горький вынужден был выбросить из этого образа все мелкое, пошлое, смешное, чему не чужд всякий человек, чему, наверное, не чужда реальная Ниловна. Эта операция наложила дальнейшие обязательства для единства колорита пришлось также удалить все мелочное и поплое из характеров Павла Власова, хохла, Николая Ивановича, Рыбина, Наташи и др., которые являются носителями «правды». Этот ряд последовательных ограничений привел к тому идеализированному изображению—сказавшемуся, между прочим, и на языке,—которое лишило повесть здоровой реальной красочности. М. Горький впал здесь снова в один из грехов романтизма. Романтики отличались способностью наделять своих героев таким подбором положительных или отрицательных черт, что, хотя каждая из них в отдельности была вполне возможной и вероятной, в совокупности они делали носителей их какими то чудовищами добродетели или порока.

Таким образом, выбрав сначала весьма выгодную в художественном отношении перспективу, автор заполнил ее не живыми реальными лицами, а ликами, написанными в условном иератическом письме. Неудивительно, что при этом наиболее интересными и художественными являются отри-

цательные персонажи повести, написанные ярко, вы-  
пукло, сочно. Правда, благодаря своей идеализированной  
односторонности (некогда говорили — тенденциозности), повесть  
является хорошим материалом для пропаганды; но пропа-  
гандистские достоинства не могут еще служить аттестатом  
художественному произведению.

## IV.

Быть может, было бы правильнее признать третий период  
творчества М. Горького законченным повестью „Мать“,  
и появившуюся вслед за ней повесть „Исповедь“ считать  
началом нового поворота, ибо и по тенденции и по настрое-  
нию она значительно уклоняется от прямой, намеченной  
вехами: „Враги“ — „Мать“. Но мы не хотим торопиться с подоб-  
ной оценкой. Есть много оснований считать, что автор  
субъективно смотрит на „Исповедь“, как на продолже-  
ние этой линии. Объективное отклонение для нас несо-  
мненно, но будет ли оно только отклонением или разломом —  
покажет будущее.

„Исповедь“ подходит к социальному вопросу совершенно  
с другой стороны, чем „Мать“. Если в первой повести в  
центре стояла борьба рабочих за материальное и правовое  
положение, то здесь поднимается вопрос о кризисе рели-  
гиозного сознания. „Исповедь“ — это рассказ об исканиях  
человека, утратившего своего старого бога и обретшего нового  
бога. Чтобы разобраться в общественном значении этой  
повести, необходимо, до известной степени, заглянуть в душу  
художника, в его творческую лабораторию. Дело не в том,  
конечно, чтобы доискиваться туждества воззрений автора  
и его героев; для полноты картины духовного развития  
М. Горького нам важно только установить, какая разница  
в основном настроении двух последних повестей.

Несомненно, что автор не просто объективно рисует  
типы богоискателей и богостроителей. Он относится к ним  
с явным сочувствием. Как некогда Лука в „На дне“ был  
выразителем симпатичной автору этики, так здесь такими  
близкими автору лицами являются Иона и Михайло. Бого-  
строительные теории их, повидимому, не чужды самому  
М. Горькому. С другой стороны, появление „Исповеди“  
вскоре после „Матери“ и самый факт перенесения очага  
богостроительства на завод, т. е. в рабочий центр, указывает  
на желание ввести богостроительские учения в круг идейного  
движения рабочего класса.

И здесь весьма характерно отметить, как жизненная  
правда, необходимая основа художественной правды, заста-  
вила художника взять для воплощения своей мысли опреде-

ленный общественный материал, ограничиться определенными элементами и, в конце концов, ради жизненной правды подорвать силу той самой идеологической правды богостроительства, которая составляет душу повести.

Прежде всего, автор вынужден был избрать героем повести не рабочего, а крестьянина (Матвей); он не мог бы заставить типичного рабочего проделать подобную эволюцию. К тому же крестьянин этот подкидыш, бездомный, т. е. оторванный от хозяйственного уклада крестьянской жизни. Он служит в конторе имения, входит в семью кулака-приказчика из экономии, женится на его дочери, сам становится одно время таким же кулаком. Таким образом, строго говоря, это даже не крестьянин, а скорее мелкий мещанин. С детства в нем глубоко внедрилась религиозность и желание жить „по-божески“. Но и личная хищническая жизнь под давлением тестя и наблюдение над окружающей обстановкой, в которой он не находит места богу, сделали его душевное состояние невыносимым. Тогда автор делает еще один благоприятный для развития повести ход: он заставляет умереть сначала жену Матвея, затем его ребенка, так что герой повести вновь становится бобылем. И тут начинаются его скитания и искания.

Длинная одиссея его мытарств—в поисках за правдой был у попа, у протопопа, в монастыре,—приводит его в близкое соприкосновение с массой бродячей Руси. „Идут, идут старые и молодые, женщины и дети, словно всех один голос позвал, и чувствуя я в этом прохождении земли насквозь по всем ее путям некую силу,—захватывает она меня, тревожит, словно обещает что то открыть душу... Как будто сама земля отрывает человека от груди своей и, отталкивая, повелительно внушиает ему: иди, спроси, узнай“.

И Матвей сам начинает странствовать. Здесь то он и встречается с Ионой, этим Лукой новейшего периода творчества М. Горького, богоискателем и богостроителем. Прежде всего, характерно, что Иона опять не рабочий, а бывший поп. И здесь жизненная правда заставляет автора искать носителя своих новых идей вне рабочей среды. Иона—своебразный тип нового религиозного народника. Носителем его богостроительских взглядов является не пролетариат, а народ, „весь рабочий народ“. И это опять весьма характерная уступка жизненной правде. Вместо прежнего лозунга: рабочий класс и знание, которым проникнута повесть „Мать“, здесь выдвигается новый лозунг: народушко и вера.

— Один человек сказал мне, что вера выдумка, а ты что скажешь?—спрашивает Матвей.

— Скажу,—отвечает Иона,—что не знал человек, о чем говорит, ибо вера—великое чувство и созидающее. А родится

она от избытка в человеке жизненной силы его; сила эта — огромна суть и всегда тревожит юный разум человеческий, побуждая его к деянию. Но связан и стеснен человек в действиях своих, извне препятствуют ему всячески,—все хотят, чтобы он хлеб и железо добывал, а не живые сокровища из недр духа своего. И не привык еще, не умеет он пользоваться всеми своими, пугается мятежей духа своего, создает чудовища и боится отражений неосторожной души своей—не понимая сущности ее; поклоняется формам веры своей,—тени своей, говорю».

Но, несмотря на преграды, по мнению Ионы,—„живы и бессмертны богостроители; ныне они снова тайно и усердно творят бога нового, того именно, о котором ты (т. е. Матвей) мыслишь—бога красоты и разума, справедливости и любви».

Кто же эти богостроители?

— Богостроители—это суть народушко. Неисчислимый мировой народ. Великомученик велий, чем все, церковью прославленные—сей бо если бог, творяй чудеса. Народушко бессмертный, его же духу верую, его силу исповедую; он есть начало жизни, единое и несомненное: он отец всех богов бывших и будущих».

Ту же теорию, только более интеллигентским языком, развивает и учитель на Исетском заводе Михайло Иванович Семена эти глубоко западают в душу Матвея и, мало по малу, он становится ярым адептом богостроительского учения. И это не случайность. Душа мелкого мещанина, в корне религиозного, разочаровавшегося в старом, казенном вероучении, должна была в конце концов, прииться по вкусу эта новая демократическая идея, влитая в старые мехи религии. До сих пор автор показывал нам все время именно такие мещанские типы: Матвея, бывшего попа Иону, учителя Михайлу, странников и странниц, крестьян. И пока эта теория богостроительства бродит среди этих элементов, она кажется понятной и близкой им.

Картина меняется, когда автор приводит на очную ставку с этой теорией настоящих рабочих, особенно сознательных. Все та же безжалостная жизненная правда заставляет автора разрушать богостроительское учение руками сознательного пролетария—Петра.

„Вопрос о боже был постоянной причиной споров Михайлы с дядей своим (Петром). Как только Михайло скажет „Бог”—дядя Петр сердится.

— Начал. Ты в это не верь, Матвей. Это он от матери заразился.

— Погоди, дядя, Бог для Матвея коренной вопрос.

— Не ври, Мишка. Ты пошли его к черту, Матвей. Никаких богов. Это — темный лес: религия, церковь и все подобное темный лес, и в нем разбойники наши, обман<sup>4</sup>.

А несколько ниже тот же дядя Петр высказывает с такой ясностью, которая разбивает в прах все богостроительские фантазии Ионы и Михайлы.

— Ты, Мишка, нахватался церковных мыслей, как огурцов с чужого огорода наворовал и смущаешь людей. Коли говоришь, что рабочий народ вызван жизнь обновлять — обновляй, а не подбирай то, что попами до дыр заношено, да и брошено<sup>5</sup>.

Насколько прав был Петр, предупреждая Матвея против увлечения „заношенными попами“ формами обновления жизни, лучше всего показывает заключительная сцена повести, где Матвей принимает старое массовое религиозное увлечение людей, запутанных в тенета поповщины, за новый массовый богостроительный подъём (ср. эту сцену с заключительной сценой пьесы „Савва“ Л. Андреева).

Социальный смысл повести и ее значение в развитии мысли автора несколько двойственные. Если ее рассматривать с позиции повести „Мать“, приходится признать ее ярким изображением ошибочных идеологий не пролетарских и не сознательных масс; если же — к чему нас более склоняет основное настроение повести — усматривать в ней новое направление мысли автора, сочувственное богостроительству, тогда, опираясь на показания Петра, следует констатировать удаление М. Горького с идейной позиции рабочего класса. Является ли это новое настроение автора прочным и длительным, или оно лишь переходная ступень к какому-нибудь новому повороту мысли, или же, наконец, М. Горький, столько лет искавший человека и обретший его было в творце будущей жизни — сознательном рабочем, отбросит богоискательскую схоластику и от гипотетического творца вернется к действительному творцу, — на эти интересные вопросы сможет ответить только будущее.

Таков идейный мир М. Горького. Теперь скажем несколько слов о его манере композиции и письма. В первых же рассказах М. Горький дал образец своего характерного стиля — сочного, красочного, всегда с любовью вырисованным фоном природы, всегда с выпуклыми яркими, характерными фигурами. Природа, действующие лица и самый язык изложения всегда гармонируют у М. Горького и всегда настроены в тоне происходящего действия. Индивидуалист и субъективист, М. Горький подчиняет все эти элементы своему основному настроению. Неудивительно, что при том романтическом настроении, которым был охвачен он в период своих первых рассказов, картины природы получались у него

весьма далекими от реализма. Самая манера описания у М. Горького несколько импрессионистская: она вся построена на передаче непосредственно переживаемых в данный момент живых впечатлений, без размышления о том, соответствуют ли эти образы объективной действительности. В картинах природы М. Горький тянет к морю, воздуху, солнцу, простору...

К концу первого периода он несколько меняет стиль. Переходя от рассказа к драме, М. Горький не создает своей манеры, а пользуется выработанной А. Чеховым формой: те же сцены настроений, те же звуковые эффекты, разговоры вместо действия, толпа равноценных персонажей вместо отдельных героев. Возвратясь после пьесы „Враги“ снова к повести, М. Горький придал своему прежнему описательному стилю новый оттенок, соответствующий его внутренней эволюции: язык и композиция тоже стали какими-то искателями правды. Нет прежней неудержной жизнерадостности с яркой, обманной игрой света, с беззаботной, заливной песней, с жаждой непосредственного, „животного“ счастья „без размышлений, без тоски, без думы роковой“. Язык стал сосредоточенный, вдумчивый, ищущий.

С чисто художественной точки зрения выше всего стоят первые „босняцкие“ рассказы. Большая повесть, вообще, плохо дается М. Горькому; „Фома Гордеев“, „Тroe“, да и „Мать“ — растянуты, неуклюжи, как бы суммированы из многих эпизодов; художественная сторона здесь явно приносится в жертву публицистике. Хороши только отдельные сцены. Драматическая форма тоже не принадлежит к особенно удачным у М. Горького. За исключением „На дне“ — вещи художественно цельной и сильной — остальные пьесы не производят того впечатления, на какое должен был рассчитывать автор, избирая именно драматическую форму. Возможно, что здесь автору вредит чеховская манера композиции: она пригодна только для определенного материала, для изображения застойной жизни. Там же, где выступают лица и группы, способные к активному историческому действию, вряд ли можно вместить их жизнь в специфическую форму „без действия“. Но, помимо вопроса о неудачности формы, следует отметить, что с тех пор, как М. Горький перестал только живописать и начал ставить своему творчеству определенные социальные задачи на разрешение, художественная форма у него все больше и больше уходила на задний план перед социальным содержанием. Он стал публицистом в искусстве.

Мы проследили идеиную эволюцию М. Горького по всем фазам ее развития. Мы видели, что, собственно, с первых же шагов его на литературном поприще он явился искателем „правды“, которая могла бы озарить теплым светом пути исстрадавшихся масс. В ранний предреволюционный момент,

когда только смутно чувствовалось назревание великих событий, когда еще не обрисовалась определенно политическая физиономия промысленного пролетариата, М. Горький выдвинул против общества, основанного на эксплоатации и привилегиях, слои, наиболее отверженные этим обществом. По мере того как все более и более ясной становилась будущая роль рабочего класса, М. Горький разделался со своей идеализацией боярства и стал буревестником пролетарской революции.

И во всей 17-тилетней литературной деятельности М. Горького, в многообразной, живой смене настроений этого впечатлительного и вдумчивого художника замечаются некоторые постоянные элементы, характерные для его психологии. Гуманное, нежное отношение к человеку, которое мы уже подчеркнули выше, потребность понять другого человека, войти в его положение и мышление, глубокая вера в конечное торжество правды, а потому упорное искание этой правды, хотя бы и менялось содержание ее, неизменная преданность всем угнетенным и непримиримая ненависть ко всем угнетателям—все эти черты красной нитью проходят через многолетнюю деятельность М. Горького, и от этого его художественный облик становится близким и родным самым широким кругам. Таким выступил он в своих первых рассказах,—таким остался и по сей день.

### А. И. Куприн.

#### I.

В моменты внутреннего перелома жизни общества, а, следовательно, и перелома в литературных вкусах и формах появляются часто крупные художники, настолько новые и настолько разнообразные в своей новизне, что поеле них целое поколение идет указанными ими путями и разрабатывает намеченные ими формы. На грани 80-х и 90-х годов таким многосторонним новатором явился у нас А. П. Чехов.

До сих пор еще недостаточно оценено его громадное значение в истории нашей новейшей литературы и влияние его на поколение писателей 90-х годов. Благодаря своей удивительной скромности и боязни всякой рекламы, А. П. Чехов как бы умышленно стушевался и старался уменьшить свою роль, а публика,— крайне несамостоятельная в суждениях, привыкшая руководиться крикливой указкой,—и в самом деле поверила, что это серый, дюжинный, средней руки писатель.

Здесь не место давать оценку роли и значению А. П. Чехова в русской литературе. Достаточно указать, что

он создал ту „мопассановскую“ форму короткого рассказа, которая стала теперь чуть не господствующей, он создал ту своеобразную форму драмы без действия, которая надолго укоренилась в нашей литературе.

Но не только художественные формы завещал А. П. Чехов; он оставил также характерное идейное наследие: насмешливое, но в то же время сострадательное отношение к людям, забитым и опошленным комарной действительностью, отношение, чуждое политической окраски, но насквозь пропитанное верой в то, что „лет через 200—300“ жизнь станет прекрасной.

Если другие переняли у Чехова его художественную форму, то идейное настроение его большей частью унаследовал А. И. Куприн.

У А. И. Куприна другой темперамент, другой литературный жанр, чем у А. П. Чехова. Прежде всего Куприн никогда не смеется. Чехов широко пользовался смехом, как художественным орудием: его юмористические рассказы, очень часто писанные в тоне шаржа, быть может, больше всего способствовали его популярности. Собственно, герои Чехова не смешливы. Они действуют и творят пошлости серьезно; автор же бьет их карающим смехом. Напротив, герои Куприна мастера смеяться—то беззаботным, жизнерадостным, то злым, насмешливым смехом. Зато сам автор всегда серьезен в изображении жизни. Единственные опыты его в шутливом жанре—так называемые „шутки“. Пародии на И. Бунина, Скитальца, М. Горького—написаны с большим остроумием, но исключительно, как „шутки“—без каких-либо притязаний.

В смысле формы письма характерно также, что до сих пор Куприн ни разу не пользовался драматической формой. Он написал всего небольшой, одноактный очерк „Клоун“, да и тот крайне не характерен для него. Между тем, Чехов в последние годы почти исключительно пользовался этой формой. По словам Куприна, он даже говорил, что „каждый писатель должен написать, по крайней мере, четыре пьесы“. Драматический жанр Куприну чужд. Отчасти это обясняется характерной для него статичностью мышления: он всегда изображает картины жизни, момент, эпизод; редко встретите у него длительно, последовательно развивающееся действие: а, если и встретите, то это действие обыкновенно слабее описаний и характеристик. Отчасти же обясняется это, вероятно, и тем, что Куприн не мыслит внешней жизни без картин природы. У него природа играет важную и, главное, самостоятельную роль. Это не фон, усиливающий настроение картины, как в рассказах М. Горького, а самостоятельный деятель рассказа. Природа у Куприна

живет своей жизнью, не считаясь с человеком, скорее человек подчиняет ей свои настроения. Страстный поклонник красоты природы, охотник, рыболов, бродяга, одним словом, верный любовник природы—Куприн счел бы святотатством подчинить ее настроению людей, превратить в бутафорский аксессуар действия.

Чехов тоже умел понимать и любить природу (вспомните его „Степь“, его Астрова и др.), но у него природа и люди были как то разграничены—либо то, либо другое. Там, где он предавался созерцанию природы, человек становился у него маленьким, маленьким, стушевывался, терялся. Напротив, в его „человеческих“ рассказах вы редко найдете отголоски этих впечатлений от природы.

Естественно, что Куприн должен любить и животных—это одно с другим неразрывно. Его рассказ „Собачье счастье“ показывает большую наблюдательность и любовь к собакам, а „Изумруд“—прямо восторженный гимн красивой, изящной, молодой лошади. В pendant к нему просится другой его рассказ „Суламифь“—такой же гимн женской красоте и молодости. Лошадь и женщина—это сопоставление несколько восточного характера может возмутить многих. Но для Куприна такое сопоставление не будет парадоксальным, ибо он подходит к явлениям жизни прежде всего с критерием телесной красоты. И здесь тоже замечается характерная связь Куприна с Чеховым. В произведениях Чехова вы почти не заметите культа телесной красоты, ему как будто чуждо это настроение; зато некоторые герои его, за репликами которых определенно чувствуется автор, уже выдвигают этот эстетический критерий. „Что меня еще захватывает,—говорит Астров („Дядя Ваня“),—так это красота“,—при этом он имеет в виду женскую красоту. В характерном для воззрений Куприна рассказе „Тост“, где действие происходит в „всемирном анархическом союзе свободных людей“, притом в 2906 году,—оратор говорит: „Слава вечно юной, прекрасной, неисчерпаемой жизни. Слава единственному богу на земле—человеку. Воздадим хвалу всем радостям его тела... Любовь наша, освобожденная от всех цепей рабства и пошлости—подобна „любви цветов“: так она свободна и прекрасна“. „Любовь цветов“—это более красивый оборот; по существу с таким же правом можно подставить в эту формулу „любовь животных“. Ибо смысл этой моральной философии—освобождение отношений между полами от всей лживости, безнравственности, пошлости, навязанной современным браком и блудущим его лицемерным обществом. „Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь,—возмущается дядя Ваня—это безнравственно; стараться же заглушить в себе бедную молодость и живое чувство это не безнравственно“.

Куприн договорил в этом вопросе то, что осталось недоговоренным у Чехова; он сделал логические выводы из его посылок. Эта жажда освобождения человеческого чувства от "цепей рабства и пошлости" возникла и у Чехова и Куприна на почве протesta против жалкой и гнусной действительности, которую они наблюдали вокруг себя. Жизнь маленьского, среднего, серого человека — вот тот материал, над которым работали и Чехов и Куприн. Не герои, не крупные, интересные, умные личности, с которыми приходилось им встречаться, привлекали внимание художников, а именно те никому неведомые, безыменные люди, которые образуют массу общества и на которых особенно рельефно оказывается вся бесмысленность их существования. Люди живут в серой, нудной, пошлой обстановке, убивают все силы свои на какую то неинтересную и ненужную работу, всю жизнь бьются и материально и морально, как рыба об лед — без тени надежды, без проблеска веры в лучшее будущее — и для чего? Для того только, чтобы наплодить таких же серых, нудных, пошлых двуногих, которых ждет та же серая, нудная, пошлая жизнь.

Этот ужас бесмысленности жизни и составляет основной, исходный материал у обоих писателей. От него отправляются они и в изображении современной действительности, и в построении будущих перспектив. Только манера трактовки у них несколько другая: Чехов реагирует более нервно и отвечает на пошлость ударами сарказма, Куприн же спокойнее — и самую мерзостную пошлость описывает сдержанно, чисто эпически.

И Чехов и Куприн — индивидуалисты, но индивидуализм их несколько особого свойства. Они стремятся не к тому, чтобы обособить во всем личность одного человека от личности другого, как это наблюдается у Андреева и многих так называемых "модернистов". Они стремятся только к обеспечению за личностью права индивидуально проживать и наслаждаться. Это — по аналогии с разновидностями коммунизма — индивидуализм потребления, а не производства.

Эта черта переносит у обоих авторов центр внимания с внешней жизни человека на внутреннюю: поэтому у них и поработление и освобождение человека трактуется с внутренней, духовной, эстетической стороны, а не с внешней, материальной, политической. Оба они аполитики, политические интересы и политические симпатии у них имеются — особенно у Куприна, живущего в более боевое время, — но они не вносят их в свое творчество, а, главное, не подчиняют им своих чисто эстетических задач, как это делают, например, М. Горький и Л. Андреев. Еще у Куприна скорее прорывается активное отношение к политическим вопросам, напри-

мер, в рассказах „Демир Кая“, „Бред“, „Искусство“, „Тост“; но и тут оно облечено в расплывчатую художественную форму. Благодаря этому, произведения их свободны от элементов публицистики—они чисто художественны.

Среди плеяды писателей, начавших работать в 90-е годы, А. И. Куприн, пожалуй единственный, не увлекшийся политическими вопросами и оставшийся чистопробным художником. В то время как художники-публицисты проявляют свои публицистические симпатии уже в самом выборе материала, который они к тому же освещают и трактуют сообразно своим убеждениям, Куприн берет всегда из действительности живым тот материал, который поражает его художественное воображение, обрабатывая его сообразно своей авторской индивидуальности, тем самым уже невольно привносит в него определенную окраску и оценку. Возьмите, например, его рассказ „Обида“, в котором профессиональные воры просят не смешивать их с погромщиками. В основу взято „истинное происшествие“. Автор описывает его, руководясь чисто художественными мотивами,—и в то же время весь рассказ проникнут боевым настроением 1905 г. с характерным для этого времени ростом чувства человеческого достоинства, уважением к общественному мнению, нравственным оздоровлением всей атмосферы, которое дала революция. Автор ни словом не заикается об оценке происходящего, а, между тем, его симпатии всем ясны. И то же самое во всех его произведениях. Вы напрасно искали бы где-нибудь у Куприна проявления политических взглядов автора, за исключением, пожалуй, рассказа „Тост“, а, между тем, по этим произведениям, и только по ним, вы знаете, что Куприн всей душой сочувствует борьбе угнетенных классов за освобождение от гнета.

В рассказе „Тост“, где, как мы указывали, изображен в некотором роде идеальный строй, оратор говорит: „Вот гляжу я на вас—гордые, смелые, ровные, веселые...“ Именно таким ровным является сам Куприн—ровным в своих настроениях, не позволяющих ему увлекаться и разбрасываться под минутными впечатлениями, ровным в своем гармоническом спокойном творчестве, ровным и в красивой, образной, эпической речи.

## II.

„Порочные, грязные, зараженные болезнями, уродливые, трусливые—они были похожи на омерзительных гадов, запертых в узкую клетку. Один крал у другого кусок хлеба и уносил его в темный угол и ложился на него животом, чтобы не увидал третий. Они отнимали друг у друга жи-

лица, леса, воду, землю и воздух. Кучи обжор и развратников, подкрепленные ханжами, обманщиками, ворами, насильниками, натравляли одну толпу пьяных рабов на другую толпу дрожащих идиотов и жили паразитами на гное общественного разложения. И земля, такая обширная и прекрасная, была тесна для людей, как темница, и душна, как склеп".

Такими словами характеризует наше время известный нам уже оратор 2906 года в рассказе „Тост“. Здесь даны два положения: обширная и прекрасная земля, могущая служить раем, и порочные люди, населяющие ее. В этих двух положениях заключается вкратце квинт-эсценция почти всего творчества Куприна: описание печальной действительности и предчувствия прекрасного будущего.

Свою молодость Куприн провел в армии; неудивительно, что военная среда оставила в нем не мало сильных впечатлений, давших ему материал для целого ряда работ. В известном смысле эта среда представляет богатое поле для изучения „порочности“ и „уродства“ современного нам общества, ибо здесь на ограниченном пространстве сосредоточена длинная вереница иерархических ступеней—от крестьян и рабочих до властвующих верхов, и все это, поставленное в специфические условия скученности, бедства, самомнения и духовной ограниченности, особенно резко подчеркивает недостатки господствующих классов и бесправие угнетаемых классов нашего общества.

„Я падаю, я падаю,—думал с отвращением и со скучкой герой „Поединка“ Ромашев.—Что за жизнь! Что то тесное, серое и грязное... Эта развратная и ненужная связь (с женой одного офицера), пьянство, тоска, убийственное однообразие службы, и хоть бы одно живое слово, хоть бы один момент чистой радости. Книги, музыка, наука, где все это?“

И люди, обреченные на жизнь в этой среде, опускаются, опошляются. Лучшие из них либо спиваются, как Назанский, либо становятся чудаками, вроде Рафальского, превратившего свою холостую квартиру в зверинец. А скольконибудь честолюбивые напрягают все свои силы, чтобы попасть в академию и, если оставаться военным, то, по крайней мере, делать блестящую карьеру. Эта ограниченность и пошлость жизни армейского офицера где-нибудь в захолустье ярко и сильно изображена Куприным также в рассказе „Свадьба“.—„Мы все, все позабыли,—говорит Ромашев,—что есть другая жизнь. Где-то, я не знаю где, живут совсем, совсем другие люди, и жизнь у них такая полная, такая радостная, такая настоящая. Где-то люди борются, страдают, любят широко и сильно... Как мы живем! Как мы живем! Но тоска по хорошей жизни Ромашевых—еще свежих, не

заеденных пошлостью людей—не находит отклика в среде их сотоварищей. На его речь другой офицер Веткин вяло отвечает: „Н-да, брат, что уж тут говорить, жизнь. Но, вообще... это, брат, одна натурфилософия и энергетика. Послушай, голубчик, что т-такое за штука энергетика?“

В „трудовые“ часы они бьют „морды“ солдатам, приговаривают к „экзекуциям“, т. е. порке („Дознание“). В часы отдыха „пьянятся“, бесчинствуют в домах терпимости, издеваются над „шпаками“. В минуты сентиментальности либо соблазняют деревенских девушек („Ночлег“), либо мечтают о чувствительных романах с аристократками („Прапорщик армейский“). „Судьба ежедневно и тесно сталкивает его (Ромашева) с сотнями этих серых Хлебниковых (забитый, жалкий солдат), из которых каждый болеет своим горем и радуется своими радостями, но все они обезличены и привлечены собственным невежеством, общим рабством, начальническим равнодушием, произволом и насилием. И ужаснее всего была мысль, что ни один из офицеров... даже и не подозревает, что серые Хлебники с их однообразно покорными и обессмыслившими лицами—на самом деле живые люди, а не механические величины, называемые ротой, батальоном, полком“ („Поединок“).

На военной среде Куприн имел широкую возможность обрисовать „порочность“ и „уродство“, так называемых командующих классов и вне военных рассказов он редко касается этих классов. К тому же мы знаем, что он не политик; изображение господствующего общества с целью публицистического освещения чуждо его авторской индивидуальности, изображение же его ради чисто эстетического интереса не менее чуждо Куприну, ибо это общество такого интереса в нем не пробуждает. Буржуазное общество в его столкновении с трудящимися классами Куприн характеризовал только однажды в своем рассказе „Молох“, отчасти еще в рассказе „Корь“, хотя там буржуазная семья изображена скорее в своей внутренней жизни.

\* \* \*

Поскольку у Куприна изображаются картины современной „порочной и уродливой“ жизни, его внимание больше всего привлекает мир людей, стоящих в силу ли своего образа жизни, в силу ли своих антиобщественных инстинктов вне общества. С одной стороны, это счастливые дети природы—счастливые, ибо у них есть та свобода и та детская близость к природе, о которой так мечтают утомленные культурными узами современные художники: страстные охотники („Лесная глушь“, „На глухарей“, „Олеся“), живу-

щие одной жизнью с природой, рыбаки („Листригоны“). С другой стороны, это отверженные мира сего: подонки, собирающиеся в кабачке „Гамбринус“, профессиональные воры с их своеобразной „этикой“ („Обида“), конокрады, контрабандисты, шулера („Ученик“), проститутки („Яма“). Сюда же относится и другой вид отверженных—цирковые и убогие провинциальные театральные парии („В цирке“, „Клоун“, „Как я был актером“). Эта пестрая полубродячая среда, жизнь которой связана с тысячами опасностей, уловок, авантюр, обладает, подобно рыбакам и охотникам, одной ценной чертой, которая, повидимому, более всего привлекает к ним внимание художника: это—отсутствие мещанского благополучия, вечный риск, который, по пословице, является „благородным делом“. Необеспеченная, скитальческая, обставленная опасностями жизнь этих людей, не знающих, что принесет им завтрашний день, придает им особую красочность, развивает в них оригинальную индивидуальность, дарит их „звериной красотой“ (выражение Куприна). Этот интерес автора к среде со слабо развитыми общественными инстинктами носит, бесспорно, несколько авантюристский характер, но в нем имеются те же элементы, что в бояцких симпатиях М. Горького, именно—протест против тупости чувств мыслей обретшего благополучие и покой мещанина. Но для М. Горького боязни были ступенью в его внутреннем развитии, для Куприна они самостоятельный интересный материал. Он не идеализирует этот материал, теневое значение его ясно Куприну, но он как бы говорит культурному обществу: господа, вы все так безличны, безвкусны, скучны и шаблонны, что не на чем остановиться вниманию художника; я изображу вам мир отверженных вами, и вы увидите, что если в вашем обществе еще есть что-либо интересного и оригинального, так это именно то, что вы гоните от себя. Я буду рисовать тени жизни и по этим теням вам ясно обозначится весь неприглядный контур вашего современного общества.

Кого редко встретите вы в произведениях Куприна, так это типичного русского интеллигента, фигурирующего обычно—в той или другой обстановке—у всех наших писателей. Есть, впрочем, один рассказ, в котором в пошлую, грязную мелкомещансскую среду Куприн умышленно, ради контраста, вставил одинокую фигуру такого интеллигента. Это жилец в номерах в рассказе „Река жизни“. Безвольный, дряблый русский интеллигент нарисован здесь в чисто чеховских тонах. „Я больше смерти боюсь— пишет он в своем предсмертном письме—этих деревянных людей, жестоко застывших в своем миросозерцании, глупо-самоуверенных, не знающих колебаний... Ненавижу и боюсь всех определен-

ных, самодовольных, шаблонных, трезвых людей, знающих все наперед—кружковых ораторов, старых волосастых румяных профессоров, кокетничающих невинным либерализмом, внушительных и елейных соборных протопопов, жандармских полковников, радикальных женщин-врачей, твердящих вспоминах куски из прокламаций, но с душой холодной, жестокой и плоской, как мраморная доска". И вот на этого "размагниченного интеллигента" повеяло "новыми, молодыми словами, буйными мечтами, свободными, пламенными мыслями". Но, увы, они оказались ему не под силу: "Мой ум с жадностью развернулся им навстречу,—говорит он—но моя душа была уже навеки опустошена, мертвa и опозорена". И, поняв весь ужас своего положения и полную невозможность переродиться, он решает покончить расчеты с жизнью. "Ну—и к черту нас"—восклицает он.—"Мы в уме презирали рабство, но сами росли трусливыми рабами. Наша ненависть была глубока, страстна, но бесплодна, и была она похожа на безумную влюбленность кастрата".

Мы уже раньше указали на характерную для Куприна об'ективность письма: он старается рисовать явления так, как они есть, так, чтобы оценка подсказывалась самими явлениями, своей же авторской оценки он старается не давать. Но есть в этом отношении два исключения. Одно—это актерская среда, пороки которой он бичует с необычной у него страстью. „Сцену заняли просто-на-просто бесстыдник и бесстыдница—говорится в рассказе „Как я был актером“.—Все они были бессердечны, предатели и завистники друг к другу, без малейшего уважения к красоте и силе творчества,—прямо какие-то хамские, дубленые души. И вдобавок люди поражающего невежества и глубокого равнодушия, притворщики, истерически-холодные лжецы с бутафорскими слезами и театральными рыданиями, упорно-отсталые рабы, готовые всегда радостно пресмыкаться перед начальством и перед меценатами"... В этой характеристике есть, конечно, много верного, но то, что в ней верно, одинаково относится ко всем профессиям, соединяющим видное общественное положение с низким интеллиектуальным цензом. Именно Куприн должен бы иметь в виду аналогию в этом смысле актерской среды с хорошо знакомой ему военной. Между прочим, характерно, что в среде писателей вообще довольно часто наблюдается какая то вражда к актерской среде.

Другая среда, которую Куприн изображает с необычным у него субъективизмом, хотя на этот раз уже сочувственным, это—проститутки („Яма“). Пока приходится воздержаться от определенной оценки и этого произведения и отношения автора к описываемой среде, так как повесть „Яма“ еще не закончена. Но то, что из нее стало достоянием публики,

носит чуждый Куприну характер идеализации, и самый стиль последней его повести пропитан чуждой ему слава-  
востью. Очевидно, мир падших женщин до сих пор остается для русского интеллигента специфическим об'ектом покаян-  
ных настроений, каким он был для длинного ряда литера-  
турных поколений. Это—камень преткновения даже у самых  
последовательных реалистов. Образ проститутки как бы  
впитал в себя в глазах интеллигентов все несправедливости,  
все обиды, все насилия, совершенные в течение веков над  
человеческой личностью, и стал своего рода святыней. И об  
этот образ разбивается и скептический пессимизм Л. Андреева,  
и романтический идеализм М. Горького, и реализм Куприна.

## III.

Что же противопоставляет А. Куприн этой „порочной и уродливой“ жизни современного общества? Есть ли у него какой-либо идеал или намек на идеал и каким путем, думает он, будет достигнут этот идеал? Таких вопросов не ставит Куприн в своих произведениях и прямых ответов на эти вопросы мы у него не найдем. Но зато мы найдем косвенные указания.

В повести „Поединок“ Ромашев, мало-по-малу понявший весь ужас и бессмыслицу окружавшей его жизни, задумывается над задачами человека. „И все яснее и яснее становилась для него мысль, что существуют только три гордых призвания человека: наука, искусство и свободный физический труд“. Эти три элемента—наука, искусство и свободный физический труд—соединяются в известном нам уже рассказе „Тоист“ для создания чудовищной земномагнитной системы, которая „привела в движение все фабрики, заводы, земледельческие машины, железные дороги и пароходы; осветила все улицы и все дома и обогрела все жилые помещения; сделала ненужным дальнейшее употребление каменного угля, залежи которого уже давно иссякли; стерла с лица земли безобразные дымовые трубы, отправлявшие воздух; избавила цветы, травы и деревья—эту истинную радость Земли—от грозившего им вымирания и истребления; дала, наконец, неслыханные результаты в земледелии, подняв повсеместно производительность почвы почти в четыре раза“.

Все это было достигнуто тремя указанными элементами. Но мы знаем, что во времена Ромашева наука была связана и приписана к определенному министерству, искусство прозябало и зависело от сановных меценатов, наконец, физический труд был, как раб, скован по рукам и ногам и запрещен капиталу. Где же отправная точка, исходя из которой

могло бы притти к блаженному состоянию 2906 года? Где необходимо первое усилие, первый толчек?

Этот толчек, как узнаем мы из тоста знакомого нам уже оратора, был дан „нетерпеливыми, гордыми людьми, героями с пламенными душами, „которые выходили на площади и на перекрестки и кричали: „да здравствует свобода“.“ И они обагряли своей праведной горячей кровью плиты тротуаров. Они сходили с ума в каменных мешках. Они умирали на виселицах и под расстрелами. Они отрекались добровольно от всех радостей жизни, кроме одной радости,— умереть за свободную жизнь грядущего человечества.“— „Друзья мои,— говорит дальше оратор,— разве вы не видите этого моста из человеческих трупов, который соединяет наше сияющее настоящее с ужасным темным прошлым? Разве вы не чувствуете той кровавой реки, которая вынесла все человечество в просторное, сияющее море всемирного счастья?“

Итак, первоначальным двигателем, вырвавшим человеческое общество из ужаса и бессмыслинности, явилось самопожертвование героев. Благодаря альтруизму гордых, свободолюбивых людей, стало возможным освобождение человечества. Эта идеалистическая точка зрения весьма характерна для аполитизма Куприна: он не останавливается над вопросом о том, что это за люди, почему они появляются и откуда появляются. „Как они рождались в тот подлый боязливый век,— говорит оратор,— я не могу понять этого“. В борьбе с насилием побеждает, таким образом, не материальная, а моральная сила.

Когда оратор кончил свой тост, „женщина необычайной красоты, сидевшая рядом с оратором, вдруг прижалась головой к его груди и беззвучно заплакала. И на вопрос его о причине слез она ответила едва слышно:

— А все-таки... как бы я хотела жить в то время... с ними... с ними...

Это характерное место дает довольно ясную картину взгляда Куприна на происходящую революционную борьбу. Этот взгляд—чисто эстетический. То, что именно женщина так реагировала на воспоминание о героической борьбе, то, что это женщина необычайной красоты, и то, что ее прельщает как раз картина самопожертвования,—все это крайне типично для Куприна. Элемент самопожертвования, бесспорно, играет по сей день крупную роль в революционной борьбе, но с тех пор, как активными деятелями революции стали не одиночки, не „герои“, а массы, „толпа“— тот элемент отошел на второй план, стал красивым придатком серой, повседневной борьбы, лишенной внешних эффектов. Самопожертвование в этой борьбе стало будничной

чертой и перестало быть добродетелью. Дерется теперь и побеждает не эта добродетель, не самопожертвование, покоряющее сердце своей моральной силой, а сплоченное усилие безыменных масс — моральная сила, опирающаяся на материальную силу. Подмечать только самопожертвование отдельных героев, не замечая работы этих безыменных средних величин, значит то же самое, что — да позволено будет сделать грубое сравнение — собирать цветы картофеля, не подозревая о существовании в его корнях питательного плода. Фактическим героям нашего времени стал собирательный деятель, и никакие „поэтические соображения“ не могут оправдать игнорирование его.

Конечно, не художника дело вскрывать социологические элементы происходящей борьбы, обяснять общественный смысл этой борьбы. Он воспроизводит только в художественных образах те явления, которые наблюдает в жизни, или, правильнее, те явления, которые поражают его творческое воображение. Воспроизводить картины новой социальной борьбы, совершающейся на глазах у Куприна, мешает ему не то, что он художник, а то, что его аполитическая психология чужда жизни тех слоев народа, которые выносят на своих плечах эту грандиозную борьбу и мостят своими телами путь к тому счастливому состоянию 2906 года, о котором с такой любовью говорит Куприн. Куприн ходит по периферии жизни, он обводит только его контуры. Правда, он сочувствует реальной борьбе и борющимся, но эта борьба затрагивает в нем только человека, а не художника. Ибо его творческая психика не имеет органов для восприятия своеобразной эстетики воскресающих к новой жизни масс. Его эстетика индивидуалистична.

Вот почему красота титанической борьбы символизируется у Куприна в образе одинокой, необычайно прекрасной женщины, плачущей от тоски по самопожертвованию. Если говорить в терминах довольно распространенного противопоставления мужского и женского начала, то самопожертвование, действительно, будет женской чертой, тогда как борьба за власть — мужской. Героизм, торжествующий физически путем победы, воплощается в образе мужчины; геройство, торжествующее морально путем самопожертвования, воплощается в образе женщины. Поэтому то наша старая революционная борьба (особенно 70-х годов), которая дала прямо сказочные образцы самопожертвования, носит отпечаток, если можно так выражаться, женской красоты; это именно „женщина необычайной красоты“. Современная же борьба пролетарских масс с ее несколько угловатой, суровой эстетикой напоминает скорее мужскую красоту тяжелых мускулистых фигур Родена или Менье.

Из этого видно, насколько Куприн психологически принадлежит к старому поколению нашей интеллигенции, хотя по возрасту он девяностидесятник. Но та психология интеллигентии, которая так высоко ставила эстетику героического самопожертвования, складывалась и господствовала в эпоху, когда это самопожертвование было главным и наиболее ценным фактом в общественной борьбе. Во времена же Куприна действуют, как уже сказано, другие силы, выдвигающие другие средства борьбы и вырабатывающие другие эстетические меры. Быть в эпоху массового геродизма эстетом индивидуальных героических усилий самопожертвования—значит разойтись с действительностью на целое поколение, стать старосветским помешником литературы, утратить чутье самого животрепещущего, что сейчас происходит. Не отсюда ли отмеченный нами об'ективизм Куприна?

Нам кажется, что именно отсюда. Нам кажется, что этот об'ективизм основывается на известной художественной бесстрастности, происходящей оттого, что Куприн, в силу своего психологического склада, как художник, не способен реагировать на самоновейшие явления в общественной жизни, что он, подмечая, как умный и талантливый наблюдатель, многое и многое, в то же время органически не может духовно слиться с той или иной общественной группой, с ее помыслами, с ее интересами. Он одинок в нашей жизни. Одинок, как бывает одиноким холостяком, утратившим способность любить. И, как художник, он бесстрастен в вопросах политики. От социальной борьбы его мысль рвется в лесную глушь, на морской простор. И превыше всей этой борьбы, раздирающей народы и классы, он готов поставить единое вечное—женскую любовь.

„Были царства и цари, и от них не осталось ни следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные, беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды; но время стерло даже старую память о них“.

„Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит,—царица, потому что любовь прекрасна“ (Суламифь).

## Леонид Андреев.

## I.

Если вы попросите современного интеллигентного русского читателя назвать наиболее талантливых авторов наших дней, он, наверное, на одно из первых мест—if не на первое—поставит Леонида Андреева. И, тем не менее, этот самый читатель прочитывает каждую новую вещь Андреева с неудовлетворенным чувством: „нет, это не то, эта вещь автору не удалась“. И почти все, что дал литературе Л. Андреев, сводится, в конце концов, к длинному ряду таких неудавшихся произведений.

Итак, с одной стороны, общепризнанный, крупный талант, с другой—вечно неудающиеся произведения. И этот суд „толпы“ в общих чертах совпадает с судом критики. Очевидно, в самой основе творчества Л. Андреева заложено какое-то противоречие, и это противоречие мешает автору успешно осуществлять задуманные им планы, воплощать в художественные произведения преследующие его идеи и образы; это противоречие нарушает цельность, а с нею и силу его произведений, оставляя их какими-то недоделанными. Вот-вот, кажется, наткнулись вы у автора на новую, яркую, интересную мысль; вы хватаетесь за нее, идете за извилинами ее хола и вдруг—эта смелая оригинальная мысль шлепается на землю и неуклюже волочится нелепыми, ненужными клочками. Развеивается обаяние и с досадой откладываете вы книгу: „Нет, это не то“.

Редкий писатель порождал столько надежд и упновий у интеллигентного читателя, как Л. Андреев. Каждая новая вещь его при самом появлении в свет встречала уже подготовленный интерес, подхватывалась, читалась и, даже не удовлетворив читателя, оставляла надежду, что вот следующая вещь непременно скажет то самое нужное и важное, чего ждет и не дождется—и ждет именно от Л. Андреева—измотавшаяся душа русского интеллигента. Приходил рассказ за рассказом, драма за драмой, а читатель все ждал и ждет до сих пор нового откровения.

В чем же заключается указанное противоречие? Быть может, разобравшись в нем, поняв его, мы сможем понять и особенности таланта и причины неудачливости Л. Андреева.

Если вы просмотрите все произведения Л. Андреева за минувшие одиннадцать лет, вы увидите, что—за небольшими исключениями—он затрагивает по преимуществу социальные темы. Это стало особенно заметно в последние годы. „Красный ёмек“, „К звездам“, „Савва“, „Тьма“, „Проклятие зверя“, „Семь повешенных“, „Мои записки“, „Дни нашей

жизни", "Анатэма"—довольно назвать эти крупнейшие из вещей Л. Андреева, чтобы оценить, насколько привязана мысль его к вопросам общественной жизни.

Но и в ранних произведениях его, а также в тех из позднейших, где темой является личная психология, вы все время чувствуете, что личность здесь бьется о преграды, поставленные социальными условиями, и сама психология личности,—особенно в ее отклонении от нормы,—является непосредственным порождением этих же социальных условий.

Но социальный и социально-психологический вопросы, раз будучи подняты, нуждаются в известном положительном разрешении или, по меньшей мере, освещении. Как освещает или разрешает их автор,—глубоко или поверхностно, верно или ошибочно, серьезно или путем остроумного парадокса—это сейчас для нас вопрос второстепенный. Но нельзя ни разрешить, ни осветить вопросов жизни, когда отрицаешь самую жизнь, когда не веришь в жизнь, когда оцениваешь бытие, исходя из апологии небытия. Можно отрицать данную жизнь во имя другой лучшей жизни; и тогда творчеству художника открываются необозримые горизонты, ибо такое отрицание чревато неисчерпаемым богатством. Но отрицать вместе с данной жизнью, жизнь вообще, подчинять жизнь смерти, свет—тьме, разум—безумию, т. е. идеино разрушать и в то же время творить—это противоречие, которое не может ужиться в одной душе, не раскалывая ее на непримиримо враждебные половинки. Художественное творчество при таких условиях носит в самом себе разъедающую ложь—и как бы ни маскировал автор эту ложь умелыми приемами письма, он будет отталкивать читателя своей непосредственной психологической непримлемостью.

Леонид Андреев именно противопоставляет всем многообразным вопросам жизни общества и личности лишь неизменные: смерть, безумие и тьму, т. е. физическую, интеллектуальную и нравственную смерть. Это его ответ на все наши запросы. Словно перед пытливой душой автора поставили черное стекло, поглотившее все яркие, жизнерадостные, красочные лучи, и грустный флер закрывает от него весь многоцветный мир. Что для него жизнь Человека, с ее радостями и восторгами, с ее борьбой, победой и падениями,—когда там, в глубине сцены стоит загадочный Некто в сером и отмечает таяние воска в свече жизни? Все суета сует—мрачно вещает Л. Андреев. Могучая мысль, самоотверженный порыв превращаются в безумие помешанного или идиота, нежную душу юноши или горячую веру борца топчет в грязь нога проститутки, а все—великое и пошлое, прекрасное и уродливое, героическое и жалкое—одинаково

поглотит смерть. И в предчувствии ее автор соозерцает всеянную зловещим взглядом Елеазара, посылающим гибель и тление всему существу.

Л. Андреев унаследовал от предшествовавших поколений русских художников интеллигентов две противоречивых наклонности: болезненное тяготение к вопросам общественности и безнадежный пессимизм в оценке их. Это все то же основное противоречие андреевского творчества. Такое сочетание общественного инстинкта с общественным пессимизмом не было противоречивым, пока наш автор ограничивался рассказами из реальной жизни, хотя и окрашенными характерным для него настроением. Ибо в реальной жизни слишком много грустного, болезненного и гадкого, и специфически окрашенный талант художника всегда найдет живой материал для своего наблюдения и творчества. Но жизнь в целом — а крупные вопросы бытия человека и общества так или иначе захватывают всю совокупность жизни — не может быть понята или разрешена умом, отрицающим жизнь, не видящим впереди ничего, кроме смерти, безумия и тьмы. А потому, по мере того, как Андреев начал переходить от бытописания к разрешению художественными средствами социальных вопросов, — характерное для него противоречие начало сказываться все ярче и ярче, ибо для доказательства своей мысли, для измерения необозримых вопросов жизни скучным мерилом своего мрачного отрицания, ему приходилось подгонять реальный материал жизни к своим целям, уродовать живую жизнь по нужному ему шаблону, а этим насилием над жизненной правдой губил он художественную правду своих произведений.

Для критика публициста Л. Андреев представляет великолепный об'ект наблюдения. Ибо в редком писателе так рельефно и ярко сказываются характерные для его психики черты и редкий писатель, — особенно из современников — способен в такой мере подчинять чисто художественные задачи — задачам публицистическим.

В развитии мысли Л. Андреева определенно намечаются три фазы, которым, как мы увидим ниже, соответствуют и три фазы развития художественной формы его письма. Сначала перед читающей публикой явился художник-реалист с несколько грустным, пессимистическим настроением, но именно художник, прежде всего художник. Это был период первых рассказов, собранных в первом томе. Здесь автор давал картины действительной жизни, преломленные сквозь его авторскую индивидуальность — красивые, гармоничные картины, за которыми чуялась мысль автора, но которые не были подчинены этой мысли. Художественная задача стояла здесь на первом месте, идеи же автора, его тенденции про-

никали в сознание читателя незаметно, естественно и ненавязчиво вместе с художественными образами. А между тем, не следует забывать, что уже тогда, в этих первых рассказах были даны в зародыше все последующие мысли Л. Андреева — и ужас жизни, и тщета разума, и власть тьмы.

Но постепенно художественный талант автора становится работой его публицистической мысли. Если в первом периоде он живописал те стороны жизни, которые сильнее всего поражали его воображение, то во втором периоде он начинает подчинять свое творческое воображение запросам мысли и подыскивает темы для воплощения этой мысли. Начинается тенденциозное творчество. Таковы его рассказы: „Мысль“, „В тумане“, „Жизнь В. Фивейского“ и т. п., а также первые драмы: „К звездам“, „Савва“. И по мере того, как он все более удалялся от чисто художественных задач и все более уходил в публицистику, определенно начиная выступать ограниченность идеиного кругозора автора, бессилие его понять и решить громадные, сложные вопросы общественности. Л. Андреев оказался без необходимого критерия. Перед лицом многообразной общественной борьбы с ее подъемами и падениями, с ее восторгами и ужасами, автор был не в силах дать какую либо оценку, кроме примитивного „суета сует“ и не менее примитивного „голого человека на голой земле“. Публицистические ресурсы выдающегося художника оказались, на поверку, скандально малы.

Человек создан для счастья, ему дана могучая мысль, в него вложены благодатные этические порывы, он прекрасен в своей юношеской целомудренности... но пред ним воздвигнута высокая, толстая стена, о которую тщетно бьется он. Эта стена — все, что враждебно свободному развитию личности: и природа, и человеческое общество, и власть, давящая своей тупой непреоборимой силой, и грубость, дикость, и предрассудки человека, и даже культурный прогресс, ведущий к обезличению человека.

И борьба человека с этой стеной безнадежна. В этом его трагедия. Трагедия добра и красоты, которые поглощает страшная, неумолимая тьма, трагедия разума, которого ждет безумие или преступление, трагедия, наконец, самой жизни, обреченной на смерть и обесцененной смертью. Такова моральная философия Л. Андреева.

Эта философия приняла вполне законченную форму в третьем периоде его развития, совпавшем — это особенно характерно — с эпохой революции. Тот пессимизм, который после первых поражений революции быстро охватил наименее устойчивые слои интеллигенции, толкнул и Л. Андреева к завершению его философии отрицания. Если в еще богатый

революционным настроением 1906 г. он мог написать такую вещь, как „К звездам“, где исходом социальной борьбы является идиотизм одного борца Николая и оправдание другого—Марии, то неудивительно, что после подавления революции он бросил энтузиазм революционера к ногам Тьмы, могучую мысль заставил подчиниться формуле железной решетки, а жизнь человека об'явил пустой, жалкой игрушкой некой серой силы.

Грандиозные мировые и общественные вопросы не под силу односторонней, узкой мысли Л. Андреева. Он захотел поднять большую тяжесть и надорвался. И эта надорванность, этот противоречивый разлом красной нитью проходит через всю его деятельность. Душу большого художника тянет к вопросам огромной важности, но публицистическая мысль его, стесненная ограниченными формулами, подсказанная узким взглядом на жизнь, бессильна перед величием этих вопросов.

А потому и трагедия мысли, трагедия добра, трагедия жизни, в которые автор втискивает всю свою оценку „проклятых“ вопросов, является об'ективно лишь одной трагедией автора, не осилившего громадных вопросов разума, нравственности, бытия.

## II.

Посмотрим теперь, откуда у Л. Андреева эта ограниченность и узость общественного кругозора, делающая талантливого художника бессильным перед выдвигаемыми им громадными задачами. Для этого нам придется проследить идеологическую родословную нашего писателя.

У нас довольно распространен взгляд, что Л. Андреев более, чем кто-либо другой, индивидуален; что его творчество ярко отражает своеобразную личность автора. Это, конечно, верно, но только условно. Творчество всякого талантливого автора обязательно отражает его личность, ибо в том то и заключается художественное творчество, что внешний, об'ективный материал перерабатывается вполне индивидуально психикой художника. Однако, творчество даже самого оригинального в своей индивидуальности писателя полно общественных элементов. Эти элементы вторгаются в его работу двумя путями: с одной стороны, в качестве об'ективного материала, который как раз у автора, столь отзывчивого на общественные вопросы, как Л. Андреев, играет крупную роль. С другой стороны, через психику автора, которая, при всех своих особенностях, все же является продуктом общественного процесса и носит на себе сильный отпечаток общественности, условий времени и места.

Даже такая, казалось бы, оторванная от земли сфера, как чистая эстетика, например, лирическая поэзия, определяется в значительной мере общественными условиями. Поэт, как дитя своего времени, разделяет художественные чувства и понятия своего поколения. И если даже он идет против доминирующего течения, он всегда отражает настроения известных групп. В гораздо большей мере оказывается эта зависимость поэта от "толпы" там, где поэту приходится высказывать свои суждения—прямо или косвенно. Взгляды, понятия, предрасудки, оценки, вообще мировоззрение автора,—непосредственный плод той среды, из которой он вышел и с которой он живет одной духовной жизнью. Художественная форма, в которую облекает автор свои идеи—это его личное достояние; самые же идеи—не формулировка, а сущность их—взяты им от общества.

Весьма интересно проследить именно на Л. Андрееве социальное происхождение и социальный смысл его взглядов, ибо, по господствующему представлению, как раз авторы—вроде Л. Андреева,—стоят одиноко и свободны от общественных влияний. Между тем, на подобных индивидуальных, якобы совершенно свободных от доминирующих симпатий художниках ярче всего заметно, как мало индивидуальны они в своих взглядах и как мало свободны в своих оценках.

Психология Л. Андреева, как художника, его взгляды, его мрачный пессимизм, его неверие в будущее, его апология смерти и тьмы—все это характерные черты типично русской интеллигенции, заполнившей своими мечтами и стремлениями более полувека русской общественности и литературы, а ныне окончательно вырождающейся. И не только это: самая неуверенность и неустойчивость автора в своих собственных взглядах, частые противоречия, затемняющие ясность его основной мысли, наконец, та поспешность и легкость, с которой он реагирует на злободневные темы—вся эта неустойчивость и нервозность тоже от этой интеллигенции. Но, чтобы уяснить связь Л. Андреева с классической интеллигенцией и его место в развитии этой интеллигенции, необходимо бросить беглый взгляд на ее историю.

Лица свободных профессий, вышедшие из самых различных классов и вынесшие оттуда самые разнообразные предрасположения, образовали у нас какой-то особый общественный слой, обединенный сходством положения, целым рядом совпадающих интересов и многими весьма сходными психическими чертами. В России, где господствующей дворянской культуре не противостояла крепкая культура мещанства, интеллигенция явилась носителем прогресса *par excellence*.

Правда, в ее рядах вы могли встретить все оттенки мнений, от самых умеренных до самых крайних, тем не менее, с ее именем неизменно связывалось понятие прогрессивности. И если говорят просто об интеллигенции, то обязательно подразумевают прогрессивную интеллигенцию.

Но на долю этой интеллигенции выпала незавидная роль. Она лишена была возможности практически влиять на общественную жизнь, так сказать, творить историю. Доступ к творческой работе был ей препрятствован. Ей оставалась только созерцательная деятельность. И вот это искусственное ограничение жизнедеятельности целого общественного слоя, притом крайне чуткого и впитавшего в себя европейскую культуру, не могло не заразить его пессимизмом. Исключительно аналитическое отношение к общественности, без практического приложения сил и знаний, только и способно породить самый мрачный пессимизм. И этот вечный анализ охватил не только публицистов интеллигенции, но и ее поэтов. Еще 14-ти лет от роду писал С. Я. Надсон в своем дневнике, что он находит особую прелесть в мучительном самоанализе.

Чуждо старой дворянской беллетристике, а также нашим парнасцам, это настроение рано начало сказываться в той части русской литературы, которая полнее всего и вернее всего отражает заключения русской интеллигенции. Уже в поэзии Некрасова лежат зародыши пессимизма, хотя их прикрывает кипевшая еще в то время борьба, полная веры в народ и надежды на победу. Но с середины 70-х годов пессимистические мотивы берут верх. Муз «Мести и печали» становится музой печали и отчаяния. Очень ярко оказывается этот поворот на Гл. Успенском и особенно на А. О. Новодворском, пережившем резкий и тяжелый перелом „ни павы ни вороны“ от жизнерадостной бодрости до разочарования и пессимизма.

Этот пессимизм, расти и ширясь, достиг своего апогея в первой половине 80-х годов у С. Я. Надсона и Вс. М. Гаршина. У этих художников пессимизм из внешней окраски претворился в самую основу их художественного настроения и творчества. Гаршин допшел до безотрадного деления людей на две категории: с хорошим и дурным самочувствием, и первых он хлестал в своих письмах беспощадной иронией. Надсон воспевал горе, как элемент счастья:

Вель сердце твое — это сердце больное  
Заглохнет без горя, как нива без гроз,  
Оно не отдаст за блаженство покоя  
Креста благодатных страданий и слез.

После Гаршина и Надсона русская интеллигенция пережила крупный перелом. На сцену выступили новые,

враждебные друг другу общественные классы, в числе их и класс, интересы которого представляла (или думала, что представляет) интеллигенция,—именно пролетариат. Теперь он самостоятельно и открыто заявил о своих потребностях и нуждах, которые он намерен отстаивать упорной, беспощадной борьбой. Интеллигенция, как самостоятельный слой, потеряла *raison d'être*, ей оставалось или примкнуть к тому либо другому из этих новых классов, либо исчезнуть. И, действительно, началось движение в этом смысле. Значительная часть интеллигенции пошла открыто или тайно на службу захватившей господство буржуазии, незначительное меньшинство ее примкнуло к движению пролетариата. Та же часть, которая хотела оставаться самой собой, упорно веря в свое „сверхклассовое“ бытие и спасительную миссию, начала медленно гибнуть и разлагаться. Первая фаза ее разложения, шедшая при обстановке мирного развития общества, может быть охарактеризована словом „опошление“. Ее навеки запечатлев в литературе А. П. Чехов. Вторая фаза, когда вокруг подготовлялась, а потом разразилась революционная буря, полнее всего отражается в творчестве Леонида Андреева. Но если Чехов был объективным изобразителем гибнущей интеллигенции, давал ее образ, отраженный своей художественной индивидуальностью, то Л. Андреев является ее прямым выразителем, рисующим ее субъективное настроение, лишь преломленное сквозь его индивидуальность.

Мы уже указывали выше, как постепенно изменилась мысль Л. Андреева со времени первых его рассказов до наших дней; эти изменения егошли рука об руку с превращениями той интеллигенции, настроение которой он отражает. Не только общие переходы его настроений, но и отдельные моменты, отдельные вопросы, затрагиваемые им, свидетельствуют о тесной внутренней связи этой разлагающейся интеллигенции и ее поэта.

Интеллигенция, как особая социальная группа, не имеет своих особых, глубоких общественных задач; она выдвигает либо общие всем прогрессивным классам культурные задачи, либо обособленные задачи того или другого класса. У нее нет определенной социально-политической физиономии. И у Леонида Андреева вы напрасно искали бы такую физиономию. Его общественный облик расплывчат. Вы встретите у него те или другие симпатии, найдете у него много искреннего, горячего чувства, но не найдете сколько-нибудь ясного представления о его мировоззрении, о его идеалах.

Тем не менее, как мы уже видели, Л. Андреев, подобно этой интеллигенции, насквозь пропитан публицистикой. Интеллигенция искони считала публицистику своей стихией. Со времен Белинского она вносила ее в критику, в искус-

ство, в науку. Поэтому она не создала ни мощного искусства („борьба мешала быть поэтом“), ни чисто художественной критики. Она и мыслит и творит публицистически. И Леонид Андреев до конца ногтей публицист.

Но недостатком этой публицистики является особый метод мышления самой интеллигенции: она мыслит рационалистически. Она склонна к абсолютному, прямолинейному суждению, между тем как реальная действительность относительна и сложна. Но относительное, конкретное, диалектическое мышление доступно только классу, который сам развивается. Интеллигенция же, как таковая, не развивается, ей развитие ничего не может дать, кроме гибели, ибо в будущем ей предстоит лишь растворение в складывающихся и крепнущих классах буржуазного общества. Ее мышление, как и ее бытие, неизменно, статично. Вместе с тем, интеллигенция, после того как утратила положение единственного выразителя народных интересов, потеряла свой прежний широкий общественный критерий. Ее специфические интересы, ее кругозор, ее оценка жизненных явлений стали уже, чем у молодых общественных классов, напр., пролетариата. Прежде эта интеллигенция обладала в русском обществе наиболее широким и наиболее внутренне свободным критерием. Теперь развивающиеся классы, которым принадлежит будущее, опередили ее, и ее кругозор стал узким и ограниченным. Ею овладел характерный социальный дальтонизм разлагающейся общественной группы. И эти свои недостатки она заботливо передала своему идеологу — Л. Андрееву.

Но Л. Андреев взял от интеллигенции не только ее мышление, интересы и вкусы, он перенял и ее настроение.

С конца 90-х годов, когда начал писать Л. Андреев, русская интеллигенция рассматриваемого типа оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны, стояла древняя сила, всегда пугавшая и удручавшая интеллигенцию, с другой стороны — выросла новая сила — рабочий класс, в котором интеллигенция рада была бы (и когда то рассчитывала) усмотреть носителя ее желаний, но с которым она разошлась, как только этот класс стал действительно „силой“. Ибо, как только пролетариат, о котором пеклась прежде интеллигенция, почувствовал себя силой, он пошел своим путем, оставив интеллигенцию на мели. И тем грознее стал для нее ужас кошмарной действительности.

Но те причины, которые оторвали интеллигенцию от низов, не позволив ей ити за ними, мешали ей воспринять и методы борьбы этих слоев за новое общество. Верная своему рационализму, она хотела единным ударом рассечь

вековой гордиев узел, уверенная, что перестроить реальный мир так же легко, как создать в голове план этой перестройки. Рационализм мышления логически привел к анархизму.

Эти черты: отвлеченный рационализм, односторонний ужас перед жизнью, не дающий видеть в абсурде современности зачатки завтрашней разумности, и культ разрушения—голый человек на голой земле—вместо диалектического культивирования жизнеспособных социальных начал,—эти черты богато выражены Л. Андреевым в его трагедии разума, трагедии добра и трагедии жизни. И здесь бард интеллигенции живет в униссон со своей средой.

### III.

**Трагедия мысли.** „Из всего удивительного, непостижимого, чем богата жизнь, самое удивительное и непостижимое—это человеческая мысль. В ней божественность, в ней залог бессмертия и могучая сила, не знающая преград“. Так говорил доктор Керженцев в рассказе „Мысль“.

Этот культ мысли, разума, крайне характерен для интеллигента-рационалиста, для которого мысль является главным орудием производства, питающим его и материально и нравственно, орудием, к которому приспособлена вся жизнь интеллигента, и—хоть это похоже на каламбур—его мышление. Признание человеческой мысли „божественной“ и „могучей силой, неющей преград“—красной нитью проходит через всю историю науки. Это возвеличение мысли очень близко знакомо и нам из истории нашей общественности. Ведь целые школы, сменяя одна другую в истории русской интеллигенции, неизменно проповедывали творческую устроительную силу разума: реалисты Писарева, народники П. Л. Лаврова, субъективисты Н. К. Михайловского—все они были убежденными рационалистами и всем им служили девизом слова греческого философа: „разум—строитель всего“.

Но не следует забывать, что Л. Андреев стоит в конце пути рационалистической интеллигенции, там, где она уже изверглась во всем, сомневается во всем, ставит на всем крест. И его задача не возвеличение „господина великого разума“, а, напротив, провозглашение его банкротом. И вот доктор Керженцев, который больше всего гордился своей безошибочной мыслью, приходит, в конце концов, к такому выводу: „Вообразите себе пьяную змею, да, да, именно пьяную змею; она сохранила свою злость, ловкость и быстрота ее еще усилилась, а зубы так же все остры и ядовиты... Такова была моя мысль, та самая, в которую я верил и в остроте и ядовитости зубов которой я видел спасение и защиту“. Мысль

рационалиста обратилась против себя самой; из орудия защиты она стала орудием гибели. И этот поворот мысли— и у Керженцева и у самого Л. Андреева—от культа разума к низвержению разума дает липкий образчик того самого рационализма, который так характерен для интеллигенции. Ибо диалектическое отрицание самодовлеющего разума привело бы к признанию его относительности, его роли одного из орудий—хотя и важнейшего орудия—культурной работы человечества. Отрицание же разума, низвергающее его, оспаривающее всякую достоверность его показаний на том основании, что он не дает абсолютной правды, есть отрицание рационалистическое, а потому бесплодное.

В пьесе к „К звездам“ Николай—этот во всех отношениях идеальный юноша—лишается после крушения революции рассудка. В минуту безумия он говорит: „Я не могу понять железной решетки. Что такое железная решетка?— Она между мною и небом“. После крушения русской революции тот же вопрос поставил сам автор в рассказе „Мои записки“. Здесь герой рассказа, посаженный в тюрьму по подозрению в убийстве, приходит к признанию „философии железной решетки“, наиболее разумной и справедливой. Заметив однажды, что голубое небо особенно красиво сквозь решетку, он говорит: „Не есть ли это действие эстетического закона контрастов, по которому голубое чувствуется особенно сильно наряду с черным? Или не есть ли это проявление иного высшего закона, по которому безграничное постигается человеческим умом лишь при непременном условии введения его в границы, например, включения его в квадрат?“

Этими словами Л. Андреев бессознательно сказал горькую правду о психологии вырождающейся интеллигенции, а тем самым, косвенно, о своей психологии. Ибо за печальным рассказом о человеке, постигшем формулу железной решетки, кроется еще более печальный рассказ о трагедии современного интеллигента, отколовшегося от общества, одиночного со своей сверлящей мыслью. Мир для него стал тюрьмой. Вселенную он в силах постигнуть лишь при помощи убогого рационалистического критерия, лишь в рамках железной решетки, и он приходит в негодование, когда „хаос“ не хочет считаться с его логическими формулами, когда он предпочитает свою житейскую „ложь“ его рационалистической „правде“. Трагедия разума есть трагедия крушения рационализма—в том числе и авторского.

Трагедия добра. Когда Николай („К звездам“) сходит с ума, его невеста Маша проклинает жизнь. „Зачем жить,—восклицает она,—когда лучшие погибают, когда разбита прекрасная форма! Нет оправдания жизни, нет ей

оправдания". Казалось бы, единственным оправданием жизни Маши после этого была бы беспощадная борьба за такие условия, при которых лучшие не гибли бы. Но андреевская героиня должна творить волю пославшего ее автора, и мысль ее делает совершенно неожиданный поворот. „Я построю город,—говорит она—и поселю в нем всех старых, всех убогих, калек, сумасшедших, слепых. Там будут глухонемые от рождения и идиоты, там будут изъеденные язвами, разбитые параличом. Там будут убийцы... Там будут предатели и лжецы, и существа, подобные людям, но более ужасные, чем звери. И дома будут такие же, как жители: кривые, горбатые, слепые, изъязвленные; дома-убийцы, предатели, они будут падать на головы тех, кто в них поселятся, они будут мять и душить мягко. И у нас будут постоянные убийства, голод и плач; и царем города я поставлю Иуду и назову город „К звездам“.

Это чисто андреевский поворот мысли: в нем нет обязательной логики, в нем есть лишь своеобразная психологическая обязательность, весьма характерная для автора, а потому сейчас интересная и ценная для нас. Если я не могу обеспечить неприкосновенность прекрасной формы, если я не могу обеспечить, чтобы мир свободно заселялся лучшими из людей—пусть же ничего не будет, пусть мир заполнят калеки, прокаженные, убийцы. Либо полное торжество добра—либо топчите добро в грязь.

Этот парадоксальный вывод еще ярче и откровеннее сделан Л. Андреевым в позднейшем рассказе „Тьма“, где он противопоставил две силы: носителя „света“—молодого революционера-террориста, и носительницу „тьмы“—простиутку. И при столкновении двух „правд“—побеждает правда публичного дома. И вчерашний революционер провозглашает дикий тост: „...За всех слепых от рождения. Зрячие, выколем себе глаза, ибо стыдно зрячим смотреть на слепых от рождения. Если нашими фонариками не можем осветить всю тьму, так погасим же огни и все полезем в тьму. Если нет рая для всех, то и для меня его не надо—это уже не рай, девицы, а просто-на-просто свинство. Выпьем за то, девицы, чтобы все огни погасли. Пей, темнота!“

В истории русской общественности искони борются два течения: одно—активное, боевое, творческое, жаждущее создать новый мир путем глубокого переворота; другое—пассивное, безвольное, созерцающее, мнящее спасти мир путем покаяния, опрощения, страдания. Последнее из этих течений и есть то, которое привело к „трагедиям“ Л. Андреева. Неожиданный поворот мысли у Маши или революционера из „Тьмы“ есть поворот, характерный не для этих борцов, какими они изображены, а для самого автора, неверящего

в победу, политически безвольного, предпочитающего борьбе искупление путем страдания.

**Трагедия жизни.** Для человека, мыслящего рационалистически, жизнь современного общества должна казаться нелепой, нерациональной. Вот, например, люди три раза в неделю собирались играть в винт, а когда один из них за игрой умер—оказалось, что никто даже не знал ни его адреса, ни его личной жизни („Большой шлем“). Уже первым этим рассказом автор с недоумением остановился перед загадкой жизни: что ты и, главное, к чему ты? И почти в каждом своем рассказе заглядывал он в тот или иной уголок жизни человеческого общества и всюду видел нелепость и бессмыслицу, зло и насилие. „Превратили землю в помойную яму,—говорит Савва,—в бойню, в жилище рабов, грызут друг друга... Блудили себе потихоньку... Лгали, бесстыдствовали, кривлялись перед своими алтариками и бессильным Богом“... А доктор Керженцев в том же смысле говорит о земле, „у которой так много богов и нет единого вечного Бога“.

Эта жизнь без единого Бога, т. е. без нравственного начала, превратившаяся в помойную яму лжи и насилия, изображена Л. Андреевым с наиболее трагической стороны—именно со стороны своей повседневности—в пьесе „Жизнь человека“. В лице человека обобщена здесь жизнь среднего буржуазного интеллигента нашего времени. И это опять крайне характерно: Л. Андреев, рисуя жизнь человека, просто-на-просто отбросил всю громадную жизнь трудящихся слоев—крестьян, рабочих, мелких мещан. Неудивительно, что равнодействующая человека прошла по линии зажиточного интеллигента. Некто в сером, говорящий в прологе от имени автора, заявляет, что герой пьесы „во всем станет подобен другим людям, уже живущим на земле. И их жестокая судьба станет его судьбой, и его жестокая судьба—станет судьбой всех людей.“ „Неудержимо влекомый временем,—поясняется далее смысл жизни человека—он непреложно пройдет все ступени человеческой жизни от низу до верху, от верху до низу. Ограниченный зрением он никогда не будет видеть следующей ступени, на которую уже поднимается нетвердая нога его; ограниченный знаниями, он никогда не будет знать, что несет ему грядущий день, грядущий час, минута. И в слепом неведении своем томимый предчувствиями, волнуемый надеждами и страхом, он покорно совершил круг железного пред назначения“. После всего, что нами было сказано о характерной психологии вырождающейся, пассивной, неспособной на самостоятельную историческую роль интеллигенции,

едва ли надо пояснить, что тот человек, о котором говорит в таком пессимистическом тоне Некто в сером, есть ни кто иной, как хорошо знакомый нам интеллигент указанного типа. Трагедия жизни есть трагедия интеллигента, отставшего от передовых, демократических классов общества, упорно не желающего пойти на службу хозяевам жизни, твердящего о своей надклассовой сущности и вздыхающего по утраченном значении в общественной жизни. Это трагедия бывшего идеиного вождя, превратившегося постепенно в простого приказчика при буржуа-хозяине, но упрямо воображающего, что еще может „поблестеть мечами, позвенеть щитами“.

Впрочем, было бы ошибочно заключать, что Л. Андреев проповедует примирение с „помойной ямой“, непротивление злу и насилия. Его моральная философия враждебна разуму и добру лишь постольку, поскольку эти разум и добро составляют достояние некоторых, а не всех. Он отрицает их и противопоставляет им торжество безумия и тьмы, потому что безумие и тьма — общее благо, а разум и добро — привилегия. Но в своем пессимизме он знает один исход — это бунт, именно — бунт стихийный, бесформенный, как сама тьма, протест против привилегированного мира. Этот ультра-анархический исход, крайне характерный для психики Л. Андреева и родственной ему интеллигенции; дикий, всеразрушающий бунт, как ответ на социальную несправедливость,— вспомните И. Ткачева и Нечаева! — красной нитью проходит через все творчество Л. Андреева.

„Человеку мешает глупость, которой за эти тысячи лет накопилась целая гора — говорит Савва.— Т е п е р е ш н и е у м н ы е хотят строить на этой горе, но, конечно, кроме продолжения горы, не выходит. Нужно срыть ее до основания—до голой земли... Уничтожить все: старые дома, старые города, старую литературу, старое искусство... Нужно, чтобы теперешний человек голый остался на голой земле. Тогда он устроит новую жизнь“. Такой же анархический исход предлагаёт и доктор Керженцев: „Я найду взрывчатое вещество, сильнее динамита, сильнее нитроглицерина, сильнее самой мысли о нем. И, когда я найду его,— я взорву на воздух вашу проклятую землю“.

Однако, ярче всего изобразил Л. Андреев анархическую картину в „Царе-Голоде“. Здесь, как равнозначащие величины, выдвинуты и фабричные рабочие и подонки общества — хулиганы, проститутки, воры. И лозунг им дается по существу один и тот же: бессмысленное разрушение. „К бунту, дети мои, — говорит Царь-Голод рабочим. — На улицы! Ломайте машины, режьте камни, заливайте котлы!“

А хулиганам говорит он: „Черными тенями легонько крадьтесь средь народа — и насилуйте, убивайте, крадьте и смейтесь, смейтесь!“ И, действительно, когда наступает „ночь великого бунта“, они, т. е. мятежники, чернь, одним словом, рабочие плюс хулиганы, разрушают все. „Они убивают друг друга. Они убивают детей. Они сожгли большой дом, полный спасавшихся женщин и детей“. Эта картина бунта скорее напоминает подвиги черной сотни в Твери, Томске, Одессе и т. п., чем какие-либо эпизоды революции. И автор сознательно рисует такую картину; недаром на чей то голос: „это революция“ один из персонажей отвечает: „Не оскорбляйте революции. Это бунт“.

В среде революционной демократии нашего времени есть два взаимоотталкивающихся течения: одно опирается на рабочий класс, видя в нем первооснову производства и всей культуры, а тем самым и будущего устроителя жизни, оно руководится научной теорией, оно проповедует сознательную борьбу всех эксплуатируемых с целью завоевать господство и перестроить общество на началах коллективной собственности и коллективного труда. Другое течение стремится опереться на всех голодных и недовольных, в том числе на бояцкий пролетариат больших городов. Теорию заменяет ему голая ненависть к богатым, а целью борьбы ставит оно разрушение всякой государственности и общественности и освобождение личности от всякой зависимости — материальной и моральной: голый человек на голой земле.

Это последнее течение и наложило свой отпечаток на психологию Л. Андреева. Но в то время как на западе это анархическое течение стало боевым течением, осуществляющим свои теории на деле, в практике, у нас оно явилось не более как литературным выражением пассивного анархизма упадочной интеллигенции. На отвлеченному, теоретическом характере этого течения примирились у нас разрушительная тенденция анархизма и безволие интеллигенции. Ее грозный протест напоминает, по удачному выражению А. Куприна, „безумную влюбленность кастрата“.

#### IV.

Подобно тому как эволюционировала мысль Л. Андреева в унисон с идеальными перипетиями интеллигенции, эволюционировала и его художественная манера творчества и письма. Ибо художественная форма и стиль тесно связаны с мыслью автора и неизбежно должны следовать всем ее изменениям. В смысле приемов творчества у Л. Андреева определенно намечаются те же три периода: первый период

чисто реалистической трактовки тем; он простирается, приблизительно, до 1902 года (до рассказов „Мысль“ и „В тумане“). Второй период захватывает последующие рассказы и драмы („К звездам“ и „Савва“). Здесь отступление от реализма сказывается в определенном подборе и подчеркивании образов и оборотов с явным намерением одностороннего воздействия на психику читателя. Наконец, третий период—это период так называемой стилизации или, вернее, схематизации. Он начинается „Жизнью человека“ и тянется до настоящего времени. Правда, Л. Андреев не особенно придерживается определенной манеры. Так, после „Царя-Голода“ он дал чисто реалистическую вещь—„Дни нашей жизни“.—Реалистичен по существу и „Рассказ о семи повешенных“, хотя здесь стилизация наложила свой отпечаток.

Л. Андреев обратил на себя внимание еще первой книжкой своих рассказов, вышедшей в 1902 г. Перед публикой предстал тогда молодой писатель, вполне сложившийся, выработавший свою художественную форму и свой образный язык. Только позднее—уже в 1906 г. вышел третий том, в котором собраны рассказы приблизительно того же периода, позволяющие судить о том, как вырабатывался Андреев-художник. Прежде всего надо заметить, что большая часть этих рассказов 3-го тома крайне слабы и натянуты. Автор, очевидно, опустился искать тот путь, на котором свободнее всего могло бы развиться его дарование.

Сначала подпадает он под влияние этико-гуманистического течения, так удачно выражившегося в рассказах В. Короленко и отчасти—хотя в другой сфере—нашедшего себе место и у М. Горького. Рассказы „Бергамот и Гараська“, „Из жизни шт.-кап. Каблукова“, „Гостище“ и др. показывают явное желание вскрыть „чувства добрые“ под грубой оболочкой опустившегося человека—именно то, что так удавалось М. Горькому. Но этот жанр настолько чужд Л. Андрееву, что получились только слабые, натянутые, нехудожественные вещицы. Также не повезло нашему автору и в другой попытке—усвоить характерную манеру А. П. Чехова. Этот неудачный опыт дал ряд рассказов: „Первый гонорар“, „Кусака“, „Книга“, „Город“, и особенно „Оригинальный человек“. Из этих тем покойный А. П. Чехов сделал бы маленькие перлы поэзии, у Л. Андреева же опять получилась надуманность, искусственность, нехудожественность. Очевидно, лишь путем долгих, неудачных опытов удалось начинавшему свою карьеру Андрееву найти тот жанр, который так цельно и закончено представлен в первой книге его рассказов. Но и этот, свой собственный, жанр дался ему не сразу. В третьей книге есть, например, рассказ „Праздник“, который, повидимому, является первона-

чальным этюдом к позднейшему „В тумане“. Правда, „В тумане“ написано уже в другом чисто андреевском жанре, и сама тема изменена, но, несомненно, рассказ „Праздник“ явился первой, неуклюжей попыткой подойти к психологии юноши.

В первой книге рассказов Л. Андреева уже заложены основы того своеобразного развития, которое предстояло проделать автору. Разработанные здесь темы, как было указано, нашли впоследствии чудовищно-уродливое развитие, но в первой книге рассказов они еще облечены в кровь и плоть, вложены в жизненную обстановку живых людей, трактованы вполне реалистично. Попадаются здесь, правда, уже чисто андреевские темы: например, излюбленный им впоследствии „Смех“, или характерный для него рассказ „Ложь“, или символическая „Стена“. Но даже в этих специфических рассказах только слабо намечается и чувствуется будущий Андреев.

Но ко второму периоду и художественные образы и самый язык довольно резко меняются. И меняются они оригинальным способом. Художник-реалист, каким был первоначально Андреев, воплощал свои мысли в образы реальной жизни, в полные картины жизни, где на ряду с важным и существенным дано и второстепенное, где соблюдена перспектива великого и малого, трагического и смешного, вечного и переходящего. И вот, постепенно из этой полной картины реальной жизни Л. Андреев начал вырезывать и выбрасывать все, что казалось ему второстепенным, неважным, ненужным для ясности и яркости его мысли и что, на самом деле, составляло эту полноту и реальность образа. Сводя, таким образом, содержание художественного произведения до самых необходимых для развития мысли и действия положений, он, вместе с тем, потенцирует эти положения, подчеркивая и выделяя их и придавая им значение более крупное, чем они имеют в реальной жизни. Этим двойным путем Л. Андреев создал особую манеру письма—очень выпуклую и яркую, гнетуще яркую, но неестественную, гиперболизированную, вычурную. И этой вычурности образов необходим был и вычурный язык. Путем подбора взаимно-усиливающих одно другое выражений в сгущенные предложения, где образ нагроможден на образ, он достигает особого эффекта в колачивания своих мыслей в голову читателя. Возьмите хоть такие примеры: „...и все были женщины, их тела, лишенные души, отвратительные, как липкая грязь задних дворов, и странно обаятельные в своей нескрываемой грязи и доступности“... („В тумане“)

„...и такая тишина стояла, словно никто и никогда не смеялся в этой комнате, и с разбросанных подушек, с перевернутых стульев, таких страшных, когда смотреть на них снизу, с тяжелого комода, не уклюже стоящего на необычном месте,—отовсюду глядело на нее голодное ожидание какой-то странной беды, каких то неведомых ужасов, доселе не испытанных еще человеком“ („Жизнь Василия Фивейского“).

„Схватившись хищными пальцами за края гроба, слегка приподняв уродливую голову, он искоса смотрит на попа прищуренными глазами—и вокруг вывернутых ноздрей, вокруг огромного сокнутого рта вьется молчаливый, зарождающийся смех. Молчит и смотрит и медленно высовывается из гроба—неказанно ужасный в непостижимом слиянии вечной жизни и вечной смерти“ („Жизнь Василия Фивейского“).

„...все поле, залитое неподвижным красным отсветом пожаров, закопошилось точно живое, загорелось громкими криками, воплями, проклятиями и стонами. Эти темные бугорки копошились и ползали, как солнечные раки, выпущенные из корзины, раскоряченные, странные, едва ли похожие на людей в своих оборванных, смутных движениях и тяжелой неподвижности“ („Красный смех“).

Здесь образ громоздится на образ, один выпуклее и вычурнее другого, получается какая-то тяжелая гнетущая гипертрофия кошмарных образов,—тогда как части этих образов достаточно для создания яркой картины. Указанные отрывки взяты наудачу,—у Андреева в этом стиле написаны целые страницы.

Этот стиль „безумия и ужаса“, выработанный, очевидно, не без влияния рассказов Эдгара По, подчеркивается, с другой стороны, усвоением характерной для Л. Н. Толстого евангельской простоты изложения. „И под нею расстипалось поле ржи, и было оно совсем белое, и оттого, что оно было такое белое среди тьмы, когда ниоткуда не падало света, рождался непонятный и мистический страх“ („В тумане“). „И потому что она молчала и думала, и потому что она не смотрела на него, и потому что у нее только одной был вид порядочной женщины—он выбрал ее“ („Тьма“).

Но стиль этот пригоден только для повествования, и он сохранился у Л. Андреева по сей день. Между тем, с 1906 г. наш автор серьезно занялся драматической литературой и тут ему понадобилось выработать особый стиль. Первые драматические опыты его—„К звездам“ и „Савва“—не представляют в смысле письма чего либо оригинального. Свой

особый стиль в драматургии Л. Андреев выказал впервые в „Жизни человека“, с какой и начинается третий период в его развитии.

Как прежде он отвлекался от конкретных, реальных подробностей жизни, оставляя лишь то, что ему казалось важным, так теперь начинает он абстрагировать от всего конкретного и реального в характерах и обстановке людей. Вместо живой личности, он подставляет отвлеченный тип—какую то сумму нужных и важных, с его точки зрения, черт; вместо полноты драматического действия, он дает ряд сопоставлений и движений—схематических, случайных, но опять-таки, только тех, какие, по его мнению, нужны и важны Так, героями „Жизни человека“ являются не живые, конкретные лица, а „человек“, „жена человека“, старухи, пьяницы и т. п. символы. В „Царе-Голоде“ герои—либо фантастические фигуры Смерти, Времени, Царя-Голода, либо безличные типы рабочих, хулиганов, буржуа, судей, победителей. Точно также отдельные акты не являются частями преемственно развивающегося целого, а отрывочными эпизодами, связанными не внутренней связью, а внешней зависимостью от цели автора. И действие в этих эпизодах тоже лишь схематическое, рассчитанное на одностороннее, зато тем более сильное впечатление на слушателя. Реплики действующих лиц составляются автором так, чтобы по содержанию и по звучанию слов давали то картину пошлости, то ужаса, то гнева, то радости, то падения и т. д. Самые действующие лица изображены тоже лишь с одной определенной стороны. Так, напр., у друзей человека „благородные лица, открытые, высокие лбы, честные глаза. Выступали они гордо, выпячивая грудь, ставя ноги уверенно и твердо, и по сторонам смотрят снисходительно, с легкой насмешливостью“. Напротив, у врагов человека „коварные подлые лица, низкие придавленные лбы, длинные обезьяньи руки. Идут они беспокойно, толкаясь, горбясь, прячась друг за друга, и исподлобья бросают по сторонам острые, коварные, завистливые взгляды“. Рабочие в „Царе-Голоде“ только трех типов: Геркулес „со слабо развитой головой и низким лбом“, чахоточный рабочий, „харкающий кровью и смотрящий в небо“, и сухой бесцветный старик. У хулиганов и проституток „почти полное отсутствие лба, уродливое развитие черепа, широкие челюсти, что-то скотское или звериное в походке“. У судей и зрителей на суде „все свойства, как толщина, так и худоба, как красота, так и безобразие, достигают крайнего развития“. Инженер—„низенький, лысый, грязновато одетый... Некрасив—хорош только большой выпуклый лоб... Вынимает грязный носовой платок и громко сморкается“, и т. д.

Таким образом, получается схематизация фигур, схематизация действия. Эффект от этого искусственно усиливается, но зато и легко переходит в карикатуру, как, например, в сцене бала у человека или почти во всем „Царя-Голода“. Эта схематизация—в том числе и злополучные „старухи“—заимствована автором у М. Метерлинка, но только Метерлинк сам создал этот стиль, как выражение своего своеобразного лирико-драматического творчества, Л. Андреев перенял манеру и утрировал ее, доведя до манерности. Правда, справедливость требует признать, что после „Царя-Голода“ он не применял этой манеры письма в таких резких формах. И реалистические „Дни нашей жизни“ и даже копиарно-символические „Черные маски“ писаны в более жизненных тонах. То же самое новейшие пьесы „Анатэма“ и „Анфиса“. Но зато „старухи“, символизирующие какие-то сверхземные силы, упорно сохраняются автором в такой реалистической по содержанию пьесе, как „Анфиса“.

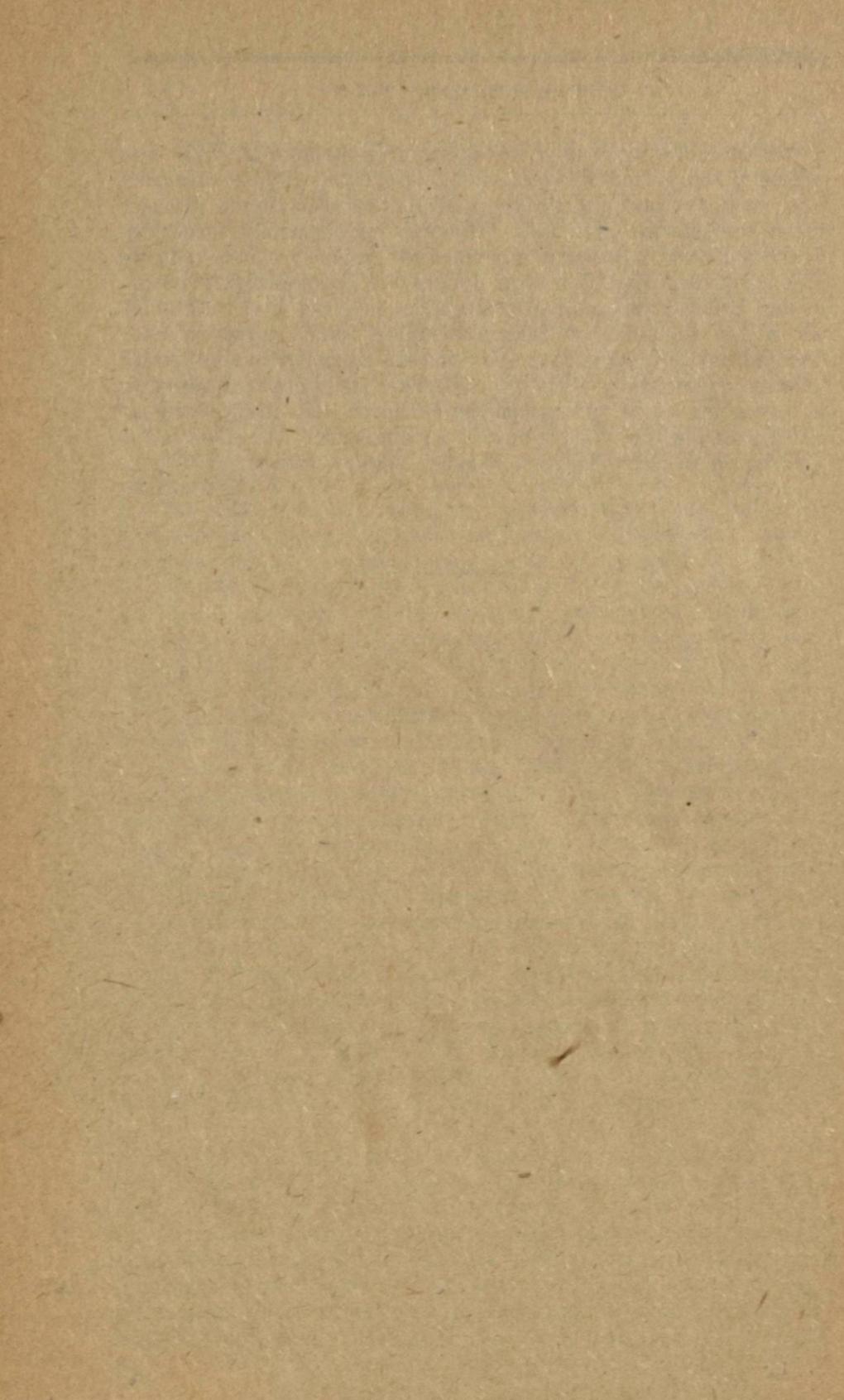
В общем манера композиции и стиль Андреева—хотя и создавались под многообразными влияниями—приспособились к основному настроению автора; как само это настроение, так и приемы творчества у него болезненны, вычурны, неустойчивы, с резкими скачками от яркого реализма к дикой фантастике, от трагического к карикатуре, от богатства образами к тощей искусственной схематизации.

Не мешает отметить также пристрастие к некоторым образам, бесконечно повторяющимся у Л. Андреева. Так, он очень любит греметь против „города“. Достается городу и в специальном рассказе этого названия, и в „Савве“, и в „Проклятии зверя“. А в то же время Л. Андреев невероятно склонен на описания деревенской природы и, вообще, трудно себе представить, как бы он стал изображать ее. Чувствует он пристрастие и к „смеху“. Уже в первом томике был рассказ „Смех“. Страшным смехом смеется идиот в „Вас. Фивейском“. Затем идет „Красный смех“. Далее, зловещий смех Тюхи в „Савве“, смех старух в „Жизни человека“ и т. д. Но особенную слабость чувствует Андреев к сумасшествию: „Мысль“, идиот „Вас. Фивейского“, сумасшествие в „Красном смехе“, безумие Николая („К звездам“), „Мои записки“, „Черные маски“ и т. п.

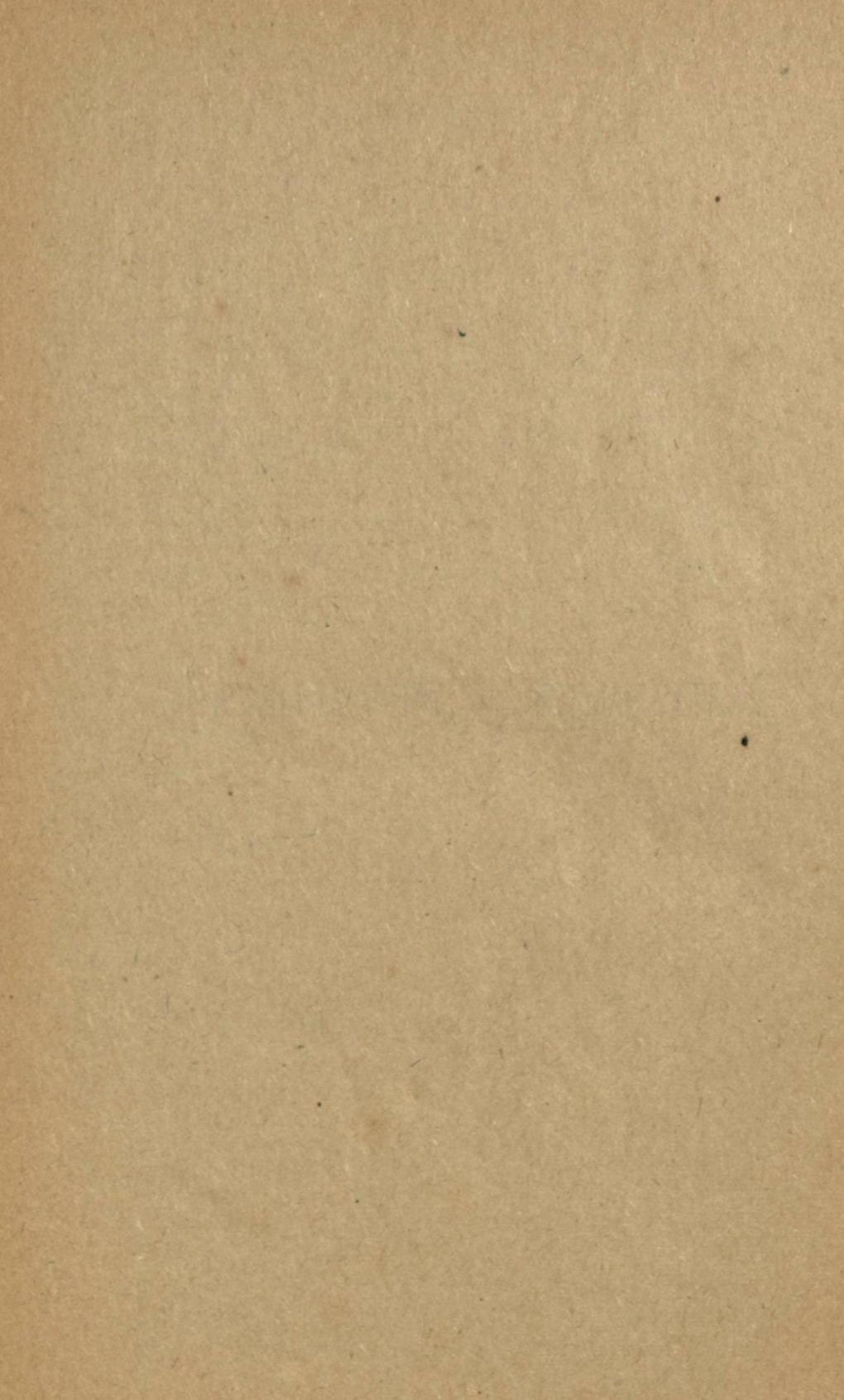
Письмо Л. Андреева угловатое, острое, с резкими гранями, местами вдруг переходящее в красивую образную лирику. Именно в рассказах любит он длинные, округленные периоды, в которых умеет смелой размашистой кистью дать подчас захватывающий образ (вспомните свист Цыганка в „Повешенных“, или превращение героя „Тьмы“... и диким простором, безграничностью дремучих лесов“... и т. д.). Чего совершенно нет у Л. Андреева, так это юмора; как

и большинство русских интеллигентов-писателей, при попытке к юмору он впадает в карикатуру, в шарж. Его сатира тоже сильно утрирована, каррикатурна. Можно было бы сказать, что Л. Андреев прекрасный стилист, боящийся красоты стиля и усиленно делающий его угловатым и тревожащим. И в этом чувствуется отголосок публицистики. Выбор злободневных, животрепещущих тем, трактовка их в тревожащих, дергающих нервы тонах, надорванное, болезненно реагирующее перо—все эти качества свойственны скорее публицисту и, будя сейчас непомерный интерес к произведениям Андреева, уменьшают их прочную, длительную, художественную ценность. Искусство ревниво и тяжко карает всякую измену.

---



„МЯТУЩИЕСЯ“ И „МЕЧУЩИЕСЯ“



## „Мятущиеся“ и „мечущиеся“.

Так называемые „идеалисты“\*) любят поминать нежным словом „мятущуюся“ русскую интеллигенцию, „смелую, своеобразную, взиравшуюся на самые вершины европейской мысли“, они охотно ссылаются на нее в оправдание своей позиции и очень не прочно выдавать себя за ее духовных преемников, выводить свою родословную от Белинского и Добролюбова, как китайский богдыхан выводит свою от солнца. Беспокойное искательство истины, редкая чуткость и отзывчивость на человеческое горе и страдание, горячая любовь к угнетенным и обездоленным, страстная вера в лучшее будущее, дух мятежа и протеста против всякой неправды, против всякой несправедливости,—все эти качества революционной русской интеллигенции дают так много опущений нашим эстетам, что они, волнуясь и горячясь, торопятся закрепить за собой право на это ценнейшее наследие, грозно обрушиваясь на общественные группы, которые они заподозревают в более близком родстве с великими покойниками. „Кто хочет рационализировать всю жизнь,—вопрошает он\*\*),—убить внутреннюю тревогу духа, искание смысла жизни, кто самодовольно отрицает вечный трагизм, охраняющий от всякого окончательного „удобства“? Конечно, уже не мистики, метафизики и эстетики, не Толстой и Достоевский, не мятущиеся интеллигенты и не идеалистические либералы, а позитивисты, социал-демократы, провозвестники рационалистической религии человеческого устроения“. В этой фразе есть очень ценное признание. Года 3—4 тому назад г. Бердяев едва ли решился бы вставить в перечень поэтических имен такую прозаическую, режущую ухо кличку, как „либералы“. Эта кличка, даже со смягчающим придатком „идеалистические“ так мало гармонирует с „мистиками, метафизиками, эстетиками“ и даже с „мятущимися интеллигентами“, как если бы в торжественный гимн красоте вставили цены на рогатый скот или зерновой хлеб. Но такова уже логика жизни—и нам остается только приветствовать искренность г-на Бердяева,—что в перечне идейных течений никак не обойдешь „либерала“, как только отношение к красоте

«Образование», 1906 г., 4.

\*) От слова «Идеал»—как *lucus* от *non lucere*.

\*\*) Н. Бердяев, «Революция и культура», «Полярная Звезда», № 2.

становится неотделимо от цен на рогатый скот и зерновой хлеб. Бердяев сделал только чистосердечное признание, он подтвердил, что та общественная группа, к которой следует отнести наших „идеалистов“ (а следовательно и самого г-на Бердяева), есть—выражаясь на грубом политическом жаргоне—либеральная буржуазия. Но, делая это признание, он тут же спешит сопоставить „идеалистических либералов“ с „мятущейся интеллигенцией“ и, таким образом, пытается установить ту духовную преемственность, которую так усердно изобретают теперь „мистики, метафизики и эстетики“ из „Полярной Звезды“. Существует ли такая преемственность, основываются ли претензии „идеалистических либералов“ на реальных правах, или же они, подобно мещанским выскочкам, стараются украсить свои гостиные портретами „предков“, купленными на аукционе у разорившейся аристократии? А вот посмотрим.

Две общественные струи выносили из недр русского общества на его историческую поверхность те идеалистические элементы, которые можно обобщить именем народолюбивой, „мятущейся“ интеллигенции. С одной стороны, из рядов господствующего класса, дворянства, бежали лучшие умы, задыхавшиеся в тесном кругу пошлости, ограниченности и грубого классового эгоизма рабовладельцев, бежали, ища путей к лучшему строю, неся сострадание и помощь угнетенным массам. С другой стороны, из недр непривилегированных, „податных“ сословий выделялись люди, неспособные примириться с грошевыми интересами мещанской среды, рвущиеся на широкий простор, бегущие от „рыбацких малых парусов“ к „кораблям“. Оба эти течения—и „кающееся“ дворянство и революционное разночинство—сходились на отрицании существующего строя, на сознании необходимости перестроить нелепые, несправедливые общественные отношения. Бороться против социального зла и неправды, нести свет знания и сознание в угнетенные народные массы, поднять эти массы до высоты просвещения и культуры и дать им возможность самим свободно создавать лучший строй отношений,—вот те мечты, которые наполняли головы „мятущейся“ интеллигенции.

На фоне этой интеллигентии, давшей десятки блестящих талантов и сотни выдающихся деятелей, с особенной реальностью вырисовывается одна фигура, являющаяся как бы символом и воплощением всего этого течения. Это—Белинский. Стоя на пороге между поколением культурного дворянства и нарождавшимся тогда типом разночинца-отрицателя, сам разночинец и по происхождению и по складу всей своей психики, но в то же время и хранитель культурных заветов идеалистов 30-х годов, Белинский гармо-

нически совмещает в себе оба идеинные течения русской интеллигенции. История как бы нарочно создала этого крупного человека в тот момент, когда традиционная струя русского культурно-дворянского идеализма начала влияться в новое русло—русло революционно-разночинской мысли. Чтобы ликвидировать период Радищева и Герцена, чтобы передать их наследие новым преемникам—Добролюбовым и Чернышевским—нужен был душеприказчик, умеющий совместить в себе и западнический культ европейской цивилизации и революционный дух грядущего поколения. Нужен был Белинский.

„Что такое Белинский, как тип?—спрашивает один из интереснейших и симпатичнейших „мятущихся“.—Это „алчувшая правды, вечно страдающая, вечно рвущаяся к свету ни пава ни ворона... Он родился между воронами, в вороньей обстановке, родился впечатлительным, сердечным, добрым, и сразу стал чувствовать себя неладно в вороньей среде. Он задыхается, ищет воздуха. А там, у подножья божества, спокойно расположилась пава... Неотъемлемая особенность его характера—неудовлетворенность и стремление к идеалу. Ни вороны ни павы этого не испытывают. У первых ничего подобного не зарождалось в голове, а вторые успокоились на лоне какой-нибудь до того широкой (или узкой) идеи, или на таком громадном запасе силы, что перед нею все сомнения, терзания—нуль. Белинскому завидно это олимпийское спокойствие. Он так энергично рвется к богине, что, наконец, может достать до нее рукой и с восторгом смотрит вниз на громадный вороний мир, копощащийся там далеко. Но тут то оказывается, что павой ему никогда не бывать, не потому, чтобы его обшипали, а просто потому, что в нем самом много вороньего: он страстно любит ворон... Вот и начинает чудить Белинский. Он протягивает руку вниз, зовет ворон, несмотря на то, что павам это, может быть, вовсе нежелательно; потом, видя, что вороны не обнаруживают ни малейшего пополнования летать так высоко, он схватывает богиню за подол платья и тянет ее вниз, к воронам когда и эти желанья ни к чему не приводят, он, больной измученный, проклинает и божество, и ворон и умирает... ни павой ни вороной“.

Трагизм „мятущейся“ интеллигенции в том и заключался, что она обречена была судьбой на эту вечную, безнадежную борьбу и с нахохлившимися павами, и с равнодушно смотрящими на нее воронами. Трагизм „мятущейся“ интеллигенции был, действительно, глубоким социальным трагизмом—трагизмом идеологов, гибнущих от недоразвитости массы, трагизм первых ласточек, замерзающих от запоздалых морозов.

Народолюбивая интеллигенция была по своему социальному происхождению отщепенцем. Происходила ли она из привилегированной дворянской среды, или из бесправных народных масс, она одинаково порывала с породившей ее средой, уходила из нее, утрачивала непосредственное общение с нею. Она утрачивала, вместе с тем, и мировоззрение этой среды, освобождаясь от ее характерной психологии. У нее складывался новый, своеобразный строй психики, ей приходилось вырабатывать новое миропонимание. И основной, доминирующей чертой в этой психике было ее народолюбие, ее страстная жажда принести счастье обездоленному народу. В этом народолюбии сказывалась и тесная субъективная связь с народом,—одни сами вышли из народа, другие чувствовали вековую вину перед народом,—и обективная необходимость для нового общественного слоя найти себе прочную социальную опору в прочных общественных кругах. Народолюбие интеллигенции, ее отрицание существующего строя всесильно определяли то направление, в котором должно было сложиться мировоззрение новой группы. Некоторый рационализм, присущий интеллигенции вообще, особенно же интеллигенции, оторванной от широких общественных слоев, естественно, толкал „мятущихся“ к идеологическим построениям, не оправдываемым реальным соотношением сил в обществе, не отвечающим уровню общественного развития. Жизненной задачей революционной интеллигенции стало то самое „человеческое устроение“ от которого так презрительно отрекаются претендующие на наследство Бердяевы.

Трагическая судьба „мятущейся“ интеллигенции и ее начинаний известна. Тысячи молодых жизней, долгие годы героической борьбы, неимоверных лишений и страданий ушли на безнадежную попытку увлечь ворон на высоты, где восседает богиня. Вороны не обнаруживали пополнования летать так высоко. Чуждое политической жизни и политическим интересам, крестьянство с недоумением смотрело на народолюбивую интеллигенцию, не понимая ее речей, не доверяя ее советам. Мечты и мысли этого крестьянства, только что освобожденного от крепостничества и не изведавшего еще на себе экономической „свободы“ буржуазного строя, были направлены в совершенно другую сторону, чем мечты и мысли интеллигенции. Не о богине, возвышающейся на пьедестале, думали упрямые крестьянские головы, а о той земле, которую орошали они своим потом и которой было так мало. Не народная воля мерещилась им, не красоты социалистического строя снились им в долгие зимние ночи, а тихое мещанское счастье мелкого собственника, спокойного за завтрашний день. И чем больше уходила деревня от

страшных воспоминаний крепостного права, чем более развивались в ней новые начала, внесенные новым строем свободной купли-продажи, тем дальше была она от идеалов „человеческого устроения“ терявшей головы „мятущейся“ интеллигенции. Пути интеллигенции и народа все более расходились.

Убедившись в невозможности поднять ворон к подножию богини, революционная интеллигенция решилась на отчаянное средство. Страстно веря, что под непроницаемой оболочкой деревенской некультурности кроется все же та самая идея социализма, которая была так дорога самой интеллигенции, эта последняя решилась схватить богиню за подол платья и стянуть ее вниз, к воронам. Она решилась собственными силами, путем отчаянных средств, добыть свободу, захватить власть и эту власть отдать народу, глубоко уповая, что народная воля употребит эту власть для „человеческого устроения“ по желаемому для интеллигенции образцу. Революционной интеллигенции не суждено было увидеть крушение всех ее идей, не пришлось пережить того горького убийственного разочарования, которое принесла бы ей в то время власть в руках „народа“. Не достигнув этой своей цели, она пала жертвой борьбы, завершив этим блестящий период—период „мятущегося“ духа—в истории русской общественности.

Наступили сумерки 80-х годов, полные грусти и уныния, торжества мрачных сил и гибели „народолюбивой“ интеллигенции. В это безвременье медленно уходили в могилу последние представители „мятущихся“, гибнувшие в безнадежных поисках той общественной силы, которая могла бы осуществить их идеалы.

Но среди кладбищенской тишины этого периода зрели в недрах общества великие события; бесконечно малые преобразования и изменения, накопившиеся годами и десятилетиями, суммировались в крупные факторы общественного переворота, пока внешний толчек—неурожай и голод 1891 г.—не раскрыл всей грандиозной картины совершившегося перелома. Россия вдруг изменилась. Как прикосновение руки к истлевшему от времени, но все еще держащемуся предмету в один миг превращает его в груду мусора, так под напором стихийного бедствия сразу рухнуло и рассыпалось все здание преоловутого прочного крестьянского хозяйства и крестьянского мировоззрения. Деревня оказалась совершенно другой, чем она представлялась стороннему наблюдателю. Внутренняя материальная и духовная связь, соединявшая якобы старую общину, куда то исчезла, вскрылись глубокие классовые деления и противоречия, цельное крестьянское миропонимание оказалось подорванным. Тот процесс дифференциации,

который медленно и постепенно совершался в недрах крестьянства, не выплывая наружу, неприметный для глаз народолюбивой интеллигенции, обнаружился сразу во всем своем размере, окончательно подорвав утопическое представление о едином крестьянстве, мечтающем о равенстве и братстве в социалистической общине. Период народнических иллюзий был ликвидирован.

Но параллельно с разложением крестьянства начал развиваться и расти другой общественный слой, не игравший до тех пор серьезной роли в жизни русского общества — пролетариат. Этот класс развивался и складывался так же тихо и неприметно, как тихо и неприметно разлагалось долгое время крестьянство. Правда, от времени из его молчаливой, загадочной среды выбрасывались отдельные личности, новые, могучие, небывалые еще на Руси люди — Алексеевы, Халтурины; правда, более проницательные и чуткие из революционной интеллигенции увидели в этом признак грядущей новой силы, — но все же главная масса пролетариата жила и развивалась под поверхностью жизни, накопляя в себе энергию для будущего открытого вмешательства в социальную борьбу. И признаки этого вмешательства начали проявляться уже с самого начала 90-х годов (не говоря уже о спорадических выступлениях рабочих в 80-е годы). Все быстрее и в большем количестве начали выделяться из рабочей массы более передовые элементы, стремясь к развитию и знанию, ища соприкосновения с носительницей этого звания — революционной интеллигенцией. Уже в 1896 году громадная стачка петербургских ткачей раскрыла всему обществу, какая новая сила сложилась в его недрах, а с началом 900-х годов эта сила уже начала открыто выступать и вмешиваться во все крупные проявления общественной жизни.

Старый тип „мятущейся“ русской интеллигенции вымирал в 80-х годах, его лучшие представители гибли под ударами судьбы или под ударами врага, его менее стойкие и последовательные представители обезличивались, опускались, перерождались в тип „лишних людей“. Новое поколение народолюбивой интеллигенции, подраставшее в то время, выступившее на арену общественной деятельности к началу 90-х годов, бессознательно впитывало в свою психологию элементы совершившихся изменений, и это создавало в его психологии предпосылки не только критики существующего общественно-политического строя, но и критики иллюзий и ошибок предшествовавшего поколения. В миропонимание молодого поколения вошло, как слагаемое, сознание наличности такого общественного слоя, который в силах понять и осуществить идеалы погибших борцов старшего поколения.

И этот факт, это сознание революционной интеллигенции нового типа, что под ногами у нее есть твердая социальная почва, что она опирается в своих идеологических построениях не на голые пожелания, а на исторические потребности могучего общественного класса, придали самим этим идеологическим построениям более реальный, более жизненный характер, очистили их от иллюзий, подменили в них интеллигентские желания классовыми интересами пролетариата. То, что было недоступно „мятущейся“ интеллигенции прежнего времени—единение с широкими массами, обоснование своих требований и своей борьбы на сильном общественном элементе, одухотворение массы великими идеями социализма—все это стало осуществимым и стало осуществляться при новом соотношении сил. Жизнь разрешила задачу революционной интеллигенции: вороны охотно пошли за призывом и потянулись к пьедесталу богини, богиня сама пошла им навстречу, покинув свои высоты. Великая идея, составлявшая прежде достояние лишь немногих, начала воплощаться в массы. Интеллигенция давала этому новому „народу“ свои знания, свое миропонимание, свои идеалы, „народ“ давал этой интеллигенции свою мощь, свой здоровый, верный инстинкт, свою боевую энергию и жажду творчества. Трагизм старой интеллигенции был разрешен. Она обрела то, что искала, перед ней разверзлись заветные двери. Ее мысль, оторванная прежде от здорового, могучего дыхания земли, беспомощно метавшаяся в поисках истины, в безнадежной борьбе с равнодушием того самого народа, ради которого она только и существовала, вышла теперь на широкий путь исследования и творчества. Интеллигенция перестала быть „мятущейся“.

По мере того как революционная интеллигенция входила во все более прочную и тесную связь с пролетариатом, по мере того как она уходила из области голых идеологических построений в живую работу над проведением в жизнь этих построений, в живую работу „человеческого устроения“, от нее начали отделяться элементы, для которых представляли интерес упражнения отвлеченной мысли, но не представителя интереса эта живая работа. Вместе с ростом пролетариата все более приходил к самосознанию и его антипод—буржуазия. Буржуазная мысль прояснялась, очищалась от всевозможных внеклассовых наслойений, принимала все более чистый облик классовой идеологии. И этот процесс размежевания не мог не отразиться и на народолюбивой интеллигенции. По мере того, как все резче и определеннее вырисовывались в ней революционные элементы, слиявшиеся идеально и организационно с пролетариатом, от нее начали отпадать элементы, для которых казалась неприемле-

мой классовая точка зрения—или, правильнее,—эта классовая точка зрения. Неясный интеллигентский революционизм, неопределенная интеллигентская идеология могли безмятежно существовать, пока им не приходилось соприкасаться с классовыми интересами в обществе; но лишь только их коснулись эти классовые интересы, они как бы под влиянием химического реактива начали менять цвета, выдавая свою социальную неоднородность, проявляя свою классовую сущность. Элементы, несогласные с классовой пролетарской идеологией, а потому отставшие от революционной интеллигенции, начали быстро эволюционировать вправо. Оторванные от сдерживающего влияния левых групп, предоставленные на произвол своего логического внутреннего развития, они ускоренным темпом начали достигать своей политической зрелости. От „марксизма“ к „идеализму“, от „идеализма“ к „идеалистическому либерализму“, от этого последнего к „реальной политике“, т. е. к откровенной защите интересов капитала— вот тот путь, который в короткий промежуток времени проделала эта часть интеллигенции.

Этот переход от народолюбивых традиций „мятущейся“ интеллигенции к их прямой противоположности совершился, конечно, не без некоторых „душевных переживаний“. Стихийная неизбежность такого перехода,—заставлявшая этих интеллигентов делать каждый новый шаг полусознательно, не понимая его реального общественного значения, проходить указанные этапы, главным образом, в области мысли, шагать по облакам, не замечая (да и не стараясь замечать), что этому поднебесному движению соответствует и земное движение от экватора к полюсу,—уживалась нередко с самым горячим и искренним протестом против того земного направления, которое всецело соответствовало их небесным путям. Область идеологии, особенно идеологии, оторванной от ясной классовой сущности, чревата самыми комическими недоразумениями. Она является таким сложным, искаженным отражением действительности, что в ней можно вполне искренне двигаться в каком-нибудь направлении, не подозревая, что оно является отрицанием прямо противоположного направления в действительности. И эта несообразность, это новое „метание“ неизбежно до тех пор, пока дифференциация реальных интересов не обусловит такой же дифференциации интересов идеальных и не поставит мир идей в тесную, непосредственную связь с миром классовых интересов. Между этим несоответствием идеологии действительности и тем, которое мы отметили у старой „мятущейся“ интеллигенции,— целая пропасть. Там преждевременное развитие идейных требований и построений столкнулось с отсутствием такой общественной силы, которая взяла бы на себя воплощение

в жизнь этих требований и построений; там мысль опередила развитие реальных общественных сил и погибла в трагическом социальном конфликте. Здесь как раз противоположное. Здесь „идеалистическая“ мысль, не поспевшая за быстрым развитием общественной дифференциации, не поняла, где находится ее классовый фундамент. Она запуталась в сотканной ею же самой паутине метафизических и этических укращений, а деловая практика успела уйти, не дожидаясь ее, вперед к ясному и прямому классовому мировоззрению. И беспомощная „идеалистическая“ мысль спешит вдогонку, сердясь на себя и других, браня и своего хозяина и в тысячу раз более своего ненавистного вчерашнего союзника. Этот комический конфликт интеллигента с его классом не приводит ни к каким трагическим связкам; в результате его получается только постепенная и безболезненная утрата всех идеалистических прикрас и побрякушек. Там была великая, „мятущаяся“, трагическая интеллигенция. Здесь мелочная, „мечущаяся“, комическая группа интеллигентов, все еще никак не могущая „познать самое себя“, несмотря на мудрые советы ее собратьев-практиков.

В „18-м брюмере Людовика Бонапарта“ Маркс делает замечание, что все великие события повторяются дважды: один раз в трагической форме, другой раз — в комической; один раз — как крупное историческое явление, другой раз — как пародия. Это замечание вполне применимо и к нашим „идеалистическим либералам“. „Мятущаяся“ интеллигенция сыграла когда то блестящую, величественную роль в истории русского общества. Великий трагизм ее „мятущегося“ духа, трагизм ее гибели, ярким пятном выступает на фоне нашей бледной общественности. Но, чтобы резче отметить все величие этого прошлого, история повторила его в карикатурном виде, создав маленьких людей, бесполезно „мечущихся“ между „вечными критериями истины, красоты и справедливости“ и привлечением голосов в пользу конституционно-демократической партии, между культом „исkanия истины“ и боязнью „человеческого устроения“, предпринятого пролетариатом. И чем мельче эти „идеалистические“ идеологии мещанского строя, чем ничтожнее они по сравнению с великими „мятущимися“ умами прошлого, тем охотнее рядятся они в их костюмы, тем охотнее повторяют их слова, ставшие в их устах фразами, тем охотнее приписываются к их родству.



ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КЛАСС?



## Представляет ли интеллигенция общественный класс?

В январской книжке „Мира Божьего“ за 1904 г. помещена небольшая статья г-на Туган-Барановского под заглавием: „Что такое общественный класс?“ В статье этой автор ставит и пытается решить два весьма интересных и волнующих умы русской интеллигенции вопроса: какими признаками определяется понятие общественного класса, и подходит ли под эти признаки понятие интеллигенции, т. е. является ли она общественным классом в этом смысле. Попутно с этим последним вопросом автор намечает — правда, только несколькими штрихами — связь известных слоев интеллигенции с народными массами. Мы сказали, что поставленные автором вопросы очень интересны; к сожалению, г. Туган-Барановский посмотрел на них с такой неинтересной точки зрения, что его попытка разрешить их вряд ли удовлетворит кого нибудь; напротив, она обязательно достигнет совершенно противоположной цели: возбудит сильную неудовлетворенность и потребность за свой счет перерешить эти животрепещущие вопросы. Вот этой потребности перерешения мы и намерены способствовать настоящей статьей.

Уже при самом вопросе, что такое общественный класс — мысль невольно обращается к тем великим социологам, которые впервые точно формулировали и применили к исследованию общественных явлений так называемую теорию классового строения общества. И вот, обращаясь к ним, г. Туган-Барановский с грустью замечает, что они нигде не дали точного определения понятия „общественный класс“; мало того, оказывается, что сам Маркс употреблял выражение „класс“ очень неопределенно, противореча сам себе, то применяя его к определенной общественной категории, напр.—мелкому крестьянству, то нет. Г. Туган-Барановский приводит целый ряд таких противоречий. „Мелкая буржуазия и крестьянство постоянно рассматриваются нашим втором, как самостоятельные классы,— говорит он,— что касается крестьянского класса, то Маркс приписывает ему решающую роль в декабрьском перевороте, приведшем к восстановлению империи“. В доказательство г. Туган-Барановский цитирует следующие слова из „18-го Брюмера Людовика Бонапарта“. „Бонапарт является представителем

особого общественного класса, и к тому же, многочисленнейшего класса французского общества, „мелкого крестьянства“. И вот, после такого категорического заявления мы узнаем,— да еще из той же брошюры,—что, выражаясь словами г-на Туган-Барановского, „крестьянство... вовсе не класс“. „Мелкие крестьяне (Parzellenbauern), пишет Маркс там же,—образуют собой огромную массу, члены которой живут в одинаковых условиях, но не вступают в разнообразные отношения друг с другом. Их способ производства ведет к разобщению, а не к взаимным сношениям производителей... Клочок земли, крестьянин и семья; рядом другой клочок земли, другой крестьянин и другая семья. Куча семей образует деревню, куча деревень—департамент. Таким образом, составляется главная масса французского народа, как из картофеля, набитого в мешок, составляется мешок с картофелем... Поскольку между мелкими крестьянами существует лишь связь того же местожительства, а тождественность их интересов не вызывает никакой сознательной общности и никакой политической организации крестьян, постольку мелкие крестьяне не образуют класса“. Уличив, таким образом, Маркса в противоречии, г. Туган-Барановский впадает в пессимистическое раздумье. Ведь если „крестьянство“ не класс, то можно ли считать классом мелкую буржуазию? Положим, Маркс называет ее совсем недвусмысленно классом, но ведь и крестьянство он также называл, а оказалось совсем не то. „Немецкая мелкая буржуазия была, очевидно, также неспособна в 1848 г. к сплочению в особую политическую партию, рассуждает наш автор и заключает: „Следовательно, и мелкую буржуазию мы не имеем права считать самостоятельным общественным классом“. После этого невольно задает себе роковой вопрос: позвольте, да уж класс ли наемные рабочие, тот самый пролетариат, относительно которого, казалось, никаких не может быть сомнений? И тут г. Туган-Барановский должен разрушить наши иллюзии,—хотя, правда, более осторожно и с оговоркой. „Действительно,—заявляет он,—мы не имеем никакого основания признавать немецких рабочих 40-х годов особым общественным классом“. Это подтверждается свидетельством самих Маркса и Энгельса, которые в своем обращении в 1847 г. к рабочим всего мира говорят, что „ближайшей целью их партии является превращение пролетариата в класс“. Если бы немецкий пролетариат того времени представлял уже общественный класс, резонно рассуждает г. Туган-Барановский, тогда бы цитированные слова утратили всякий смысл.

Здесь необходимо маленько отступление, которое обясним некоторые недостатки аргументации г-на Туган-Баранов-

ского. С нашей стороны это может показаться дерзостью, но мы вынуждены заметить dem gelehrten Herrn, что, хотя „Мир Божий“ журнал популярно-научный, предназначенный для самообразования, и хотя статья нашего автора тоже,—не скажу популярно-научная,—но, во всяком случае, популярная, все же автору не следовало переходить от популяризации к вульгаризации, не следовало так небрежно обращаться с терминами и словами. Может быть, г. Туган-Барановский, подобно Фаусту, „слово“ ценил очень невысоко,—все же ему надлежало считаться с тем, что от хорошей популяризации неотделимо самое строгое употребление терминов и самое точное определение понятий. Это азбучная истина педагогии. Между тем, г. Туган-Барановский, цитируя Маркса, в своих пояснениях к его словам систематически заменяет его термины своими, имеющими более широкое значение; благодаря этому, получается такая нелепость: г. Туган-Барановский берет какое-нибудь положение Маркса, заменяет в нем подлежащее понятием более широким и получает обобщенную формулу, от которой Маркс наверное бы отказался. Впрочем, справедливость требует признать, что то же самое он проделывает и над своими собственными положениями, так что здесь очевидно не злой умысел, а просто органический недостаток. Вот примеры из приведенных уже нами цитат.

Маркс. Бонапарт является представителем мелкого крестьянства.

Гр. Туган-Барановский. Что касается крестьянского класса, то Маркс приписывает ему решающую роль в декабрьском перевороте. Или:

Маркс. Поскольку между мелкими крестьянами существует лишь связь того же местожительства... постольку мелкие крестьяне не образуют класса.

Г. Туган-Барановский. Читатель не может не быть поражен, узнав от того же Маркса, что крестьянство... вовсе не класс.

Мелкие крестьяне, как известно, составляют часть крестьянства. Крестьянство, как таковое, Маркс не мог считать классом, что видно из таких, напр., слов самого же г-на Туган-Барановского: „Германский народ в эпоху этого движения (т. е. в 1848 г.) состоял из следующих классов: феодального дворянства, буржуазии, мелкой буржуазии, крупного и среднего крестьянства, мелкого свободного крестьянства, несвободного крестьянства, находившегося в феодальной зависимости от помещиков, земледельческих рабочих и, наконец, промышленных рабочих—всего насчитывается Марксом не менее

8 общественных классов". Таким образом, Маркс видел в среде „крестьянства“ четыре отдельных класса. Кажется, дело ясно.

Так же искажает г. Туган-Барановский и самого себя. Вот, например: „Немецкая мелкая буржуазия была... неспособна в 1848 г. к сплочению... следовательно, и мелкую буржуазию (всегда и везде?) мы не имеем права считать самостоятельным общественным классом“. Эта небрежность и игра словами очень характерно отражаются на всей аргументации нашего автора. А теперь вернемся к Марксу.

Показав противоречия в понимании Марксом общественного класса, г. Туган-Барановский спешит реабилитировать своего бывшего учителя, заявляя, что причина этой непоследовательности лежит не в недостатке логики у него (у Маркса, конечно), а в диалектическом методе Гегеля, которого, как известно, придерживался Маркс. Все мол, знают, какую роль играли „противоречия“ в гегелианстве\*). В доказательство этой мысли наш автор приводит следующее место из „Ницеты философии“: „Экономическое отношения превратили массу населения в рабочих. Господство капитала создало одинаковость положения для этой массы, одинаковость интересов. Таким образом, эта масса стала классом по отношению к капиталу, но не классом в себе (*für sich*). В очерченной нами борьбе эта масса об'единяется, конституируется, как класс в себе. Защищаемые ею интересы становятся классовыми интересами“. Вот видите, говорит г. Туган-Барановский, это образец чистейшего гегелианства. Чистое бытие переходит через свое отрицание к бытию по отношению к другому (класс по отношению к капиталу) и через отрицание отрицания—проделав всю гегелеву триаду—к бытию в себе (класс *für sich*). Есть и тезис, и антитезис, и синтез. А так как г. Туган-Барановский, как известно, диалектического метода не придерживается, то ясно, что все здание Маркса определения класса, как построенное на зыбкой почве гегелианства,—для него ценности не имеет! Жупелом гегелианства автор думает пришибить доверчивого читателя.

Что Маркс был гегелианцем, хотя „крайним левым“ гегелианцем, что он, к счастью, мыслил диалектически, и, благодаря этому, двинул далеко вперед ту самую науку, которую тщетно силятся оттащить назад г.г. Туган-Барановские,—все это совершенно верно, но, прибавим, вовсе не так страшно, как может показаться иному читателю, принявшему черезчур сильную дозу „критицизма“. Маркс, действительно, нередко иллюстрировал свои доводы стройной схе-

\*). Г. Туган-Барановский понимает гегелианство, повидимому, так, что достаточно противоречит самому себе, чтобы мыслить „по-Гегелю“.

мой гегелевской триады, но что он никогда ничего не пытался доказать при помощи нее, об этом говорилось и писалось и печаталось тысячи раз в то (жизнерадостное) время, когда сам же г. Туган-Барановский отстаивал—не всегда, правда, удачно—учение Маркса. Об этом совершенно недвусмысленно говорит сам Маркс в предисловии к I-му тому „Капитала“, где он указывает на то, что в сочинении своем местами кокетничает терминологией того великого философа, которого современное Марксу ученое филистерство третировало, как „дохлую собаку“. Поймите, г. Туган-Барановский, именно кокетничает, т. е. дразнит сердитого филистера, который за этим насмешливым приемом не разглядел и до наших дней не может разглядеть строго логическую аргументацию по всем правилам науки о мышлении. Но, повторяю, Маркс мыслит диалектически; для него познать какое-нибудь явление—значит исследовать его развитие, изучить закон этого развития, а не определить его, как неизменную логическую категорию. А в своем развитии явления проходят различные „противоречивые“ стадии: то, что вчера было гусеницей, сегодня уже куколка, а завтра будет бабочкой, как этого не отрицают и г. Туган-Барановский. Вопрос, стало-быть, сводится на то, каким образом определить понятие какого-нибудь развивающегося явления, как замкнуть в постоянную формулу переменное явление. Для этого существуют два способа. Или формула сама является диалектической (динамической) формулой, какие дает нам высшая математика, т. е. формулой с двумя переменными, или же явление определяется по одному моменту, именно моменту своего наивысшего, полного развития. Первый прием, по существу математический, почти неприменим к неточным наукам, а в том числе и к наукам общественным; поэтому обыкновенно применяют второй. Так, например, и куколки, и гусеницы, и бабочки обединяются общим понятием бабочки („стадии развития бабочки“), потому что фаза „бабочки“—стадия наивысшего и конечного развития организма, после которого он погибает. Точно также, в применении к общественным наукам, очень характерны слова Маркса, что при изложении законов капиталистического общества он вынужден был предположить вполне развитые капиталистические отношения, каких в действительности нет и, может быть, даже во всем об'еме и не будет. Но важно заметить, что эта стадия высшего развития постулируется на основании изучения хода и законов этого развития, а не изобретается путем отвлеченно-логических построений. Известно, какому глубокому и всестороннему изучению подверг Маркс историю возникновения и развития капитализма, прежде чем он нарисовал картину развитого

капиталистического строя. Тот же самый—по существу диалектический—метод применяет Маркс и при определении понятия общественного класса. „Экономические отношения,—говорит он,—превратили массу населения в рабочих. Господство капитала создало одинаковое положение для этой массы, одинаковость интересов. Таким образом, эта масса стала классом по отношению к капиталу, но не классом в себе“. Это значит, что масса, достигшая данной стадии развития, является уже классом в экономическом отношении, классом, как хозяйственной категорией. Но можно ли ее признать классом в общественном значении? Можно ли по этому ее признаку определить понятие общественного класса? Маркс категорически отрицает это, отрицает именно потому, что это еще не есть та точка наивысшего развития, после которой начнется обратный процесс разложения и упадка. В нескольких строчках у Маркса наглядно представлен весь грандиозный процесс возникновения пролетариата. Вы видите, как из недр старого общества, из самых разнообразных слоев его выделяются одиночки или целые группы людей, очутившихся в новом положении, обретенных на продажу своей рабочей силы. Вся эта разношерстная толпа, вышедшая—кто из крестьян, кто из ремесленников, кто из торговцев, кто из кустарей, кто из лакеев, мало-по-малу утрачивает свои первоначальные привычки, понятия, взгляды и под давлением новых условий жизни—условий наемного труда в капиталистическом производстве—приобретает новый психологический облик, где нивелируются прежние различия и вырабатывается особая типичная психология. Но мы уже видели, что эта масса еще не обладает некоторыми характерными чертами общественного класса. Она еще тот мешок с картофелем, к которому Маркс приравнивал французских мелких крестьян. Чтобы превратиться в класс, чтобы достигнуть высшей стадии развития, эта толпа должна быть одухотворена, связана классовым самосознанием, сознанием своих интересов, как целого, как класса, в противоположность интересам других классов. До сих пор в этой массе существовало только индивидуальное или, много-много, групповое самосознание: отдельные лица или группы сознавали противоположность их интересов интересам предпринимателей, но они, наверно, сознавали также антагонизм конкуренции в своей же среде, и этот разъединяющий момент пересиливал чувство солидарности, способное преобразовать аморфную массу в общественный класс, сознающий свои интересы. В процессе развития этого самосознания „эта масса, говоря словами Маркса,—объединяется, конституируется, как класс в себе (*für sich*). Защищаемые ею интересы становятся классовыми интересами“.

Когда Маркс писал эти строки, вопрос о превращении массы немецких рабочих в класс представлял еще неразрешенную задачу; недаром же говорилось в воззвании Маркса и Энгельса, что „ближайшей целью их партии является превращение пролетариата в класс“. Зато он мог иллюстрировать этот процесс примером буржуазии, завершившей к тому времени (во Франции) свое классовое развитие. Он различает в нем те же два фазиса: „Фазис, в течение которого буржуазия только конституировалась под господством феодализма и абсолютной монархии, и тот, когда буржуазия, как уже конституированный класс, опрокинула старый порядок и превратила общество в буржуазное общество. Первый из этих фазисов, добавляет Маркс, — был продолжительнее и требовал больших усилий“. В первом фазисе своего развития находилось во времена Маркса и то французское мелкое крестьянство, которое он сравнивал с мешком картофеля; некоторые общественные группы могут так и остаться на этой стадии развития, недоразвившись до класса. Эти примеры наглядно показывают, где лежит центр тяжести в определении Марксом понятия общественного класса: этот центр тяжести — в элементе общественности, в классовом самосознании, как психологической предпосылке активной классовой жизни, лежащей в основе всего общественного развития дифференцированных народов. Этот момент общественности, момент общественно-психологический, существенно важен для точного разделения понятий класса и группы (как части класса). Отдельные общественные группы могут вырабатывать только формы узкого, группового, так сказать, профессионального самосознания. Широкое же гражданское самосознание может выработать только класс. Например, группа банкиров в классе буржуазии имеет вполне определенные, самостоятельные экономические интересы, антагонистичные интересам капиталистов-заемщиков; однако, банкиры никогда не могли бы выработать самостоятельной политической (классовой) идеологии, а как только касались такой идеологии, она всегда оказывалась идеологией, общей всей крупной буржуазии, т. е. всему классу. То же самое можно сказать и обо всех общественных классах и входящих в их состав группах. Мало того, общественные группы, которым ходом исторического развития суждено современем превратиться в класс, группы, следовательно, в социологическом смысле самостоятельные, подолгу бывают не в силах подняться выше чисто экономической, групповой ступени самосознания и заимствуют элементы чуждой идеологии, под влиянием которой они находятся до развития собственного классового самосознания, до превращения в общественный класс. В таком положении находился,

например, рабочий класс в Германии во времена Лассала; он представлял—по терминологии Маркса—класс по отношению к капиталу, т. е. класс, как категорию экономическую, а не класс в себе, не класс в общественном смысле. Он не дорос еще до классового самосознания и шел на поводу у буржуазии. Таким образом, тот же остаток класса, как хозяйственной категории, превращается в живой организм класса общественного, как только вдохнут в него душу живую самосознания. Это применение Марксом методаialectического мышления к определению понятия общественного класса аналогично такому же приему, употребляемому им при определении понятия капитала. Грандиознейший завод, оборудованный по последнему слову науки, останется мертвой коллекцией орудий производства, пока он не будет обращен на добывание прибавочной ценности из живой человеческой силы; тогда только он превращается в капитал.

Если нужна та определенная формулировка понятия класса, которой г. Туган-Барановский не нашел у Маркса, то эта формулировка теперь ясна и напрашивается сама собой. Мы могли бы изложить ее, например, так: классом называем мы общественную группу, связанную тождественностью хозяйственных интересов, сознанием общности основных жизненных задач ее членов, задач не только „экономических“, и—что отсюда вытекает—реальным обединением для защиты этих задач и интересов\*).

Посмотрим же теперь, какое определение понятия „общественный класс“ дает г. Туган-Барановский. Вот его слова: „Мы можем определить социальный класс, как общественную группу, члены которой находятся в одинаковом экономическом положении по отношению к общественному процессу присвоения одними общественными группами прибавочного труда других групп и, вследствие этого, имеют общие экономические интересы и общих антагонистов в процессе общественного хозяйства“. При первом же взгляде на эту формулу обращает на себя внимание характерная черта антидиалектического—Энгельс сказал бы метафизического—метода мышления нашего автора. Определение строится путем чисто умозрительной комбинации „имманентных“ признаков понятия „класс“. „В чем же заключается источник противоположности интересов в современном обществе, основанном на присвоении одними общественными группами прибавочного труда“\*\*) других групп?—спрашивает г. Туган-

\*.) Это почти буквальное повторение формулировки, данной Марксом в цитате с мешком картофеля в условной форме: поскольку—постольку.

\*\*.) Не «труда», г. Туган-Барановский, а прибавочного продукта или, точнее, прибавочной стоимости.

Барановский и тут же дает ответ: „Очевидно, ни в чем ином, как в этом самом экономическом отношении, лежащем в корне данного социального устройства“. Заметим en passant, что „в корне“—„смотреть в корень“ надо тоже умеючи—социального устройства лежат не „экономические отношения присвоения“, а экономические отношения производства, но это так, между прочим. Прибавочная стоимость—рассуждает, повидимому, г. Туган-Барановский—распределяется по известным законам между известными общественными группами; но так как сумма этой прибавочной стоимости, для каждого данного момента величина постоянная, то, очевидно, доля какой-нибудь группы может увеличиваться только за счет долей других групп. В этом процессе распределения \*) интересы всех групп взаимно антагонистичны, а этим антагонизмом интересов характеризуется основной признак разделения на общественные классы. Таким образом, получается, что понятие общественного класса характеризуется общностью интересов его членов по отношению к процессу распределения прибавочной стоимости в обществе.

В этом рассуждении и построенной на нем формулировке мы узнаем знакомое нам уже определение класса, как экономической категории,—того самого мешка с картофелем, о котором говорилось в приведенных выше выписках из Маркса. Благодаря своему антидialektическому мышлению, г. Туган-Барановский дал определение общественного класса, соответствующее одной из низших стадий в процессе образования классов, а потому неудовлетворительное и не исчерпывающее сущности понятия. По формулировке г. Туган-Барановского, всякая общественная группа, интересы которой противоположны интересам других групп, является тем самым уже классом. Эта мысль высказывается им вполне определенно: „Антагонистическое экономическое отношение присвоения общественного прибавочного труда неработающими группами,—говорит он, лежащее в корне капиталистического общества, придает антагонистический характер всем экономически обособленным группам, из которых это общество слагается, и делает из последних не просто экономические группы, а социальные классы“. Такое толкование лишает понятие общественного класса всякой определенности, так как,

\*) Весьма характерно для всех полумарксистов, критицистов и пр. и пр., что общественные вопросы они сводят охотнее всего к производному фактору распределения, вместо того, чтобы углубляться до анализа основного процесса—производства. Это своего рода *testimonium paupertatis*, свидетельствующее о неспособности всех этих г.г. «критиков» справиться с основными и сильнейшими позициями марксизма: учением о производстве, об образовании прибавочной ценности, капитала и пр.

в конечном счете, современное общество дробится в бесчисленное множество групп и группок, ближайшие экономические интересы которых взаимно противоположны, особенно если их отнести к процессу распределения. Характерно, между прочим, что по формулировке нашего автора под понятие класса подходят как раз те самые „неспособные к сплочению“ немецкие мелкие буржуа 1848 года, а также и немецкие рабочие 40-х годов, которых Маркс и Энгельс по недомыслию старались превратить в класс; и те, и другие находились „в одинаковом экономическом положении по отношению к общественному процессу присвоения одними общественными группами прибавочного труда других групп“. Как видите, гони диалектику в дверь, она влетит в окно, и г. Туган-Барановский, благодаря своему антидиалектическому мышлению, попал в самое „диалектическое“ (в кавычках) положение: он должен в конце статьи, на основании полученной формулировки, признать то, что отрицал в начале статьи. Логика неумолима и жестоко карает за всякие шалости.

Определение понятия общественного класса служит г. Туган-Барановскому базисом для решения вопроса, представляет ли интеллигенция самостоятельный общественный класс. Напи автор дает на этот вопрос отрицательный ответ, хотя формулирует его как бы с оговоркой. По его мнению, „интеллигенция есть общественная группа с неопределенным классовым характером“. Эта оговорка — с неопределенным классовым характером, затемняющая совершенно ясный смысл слов самого г. Туган-Барановского, что „интеллигенция не составляет самостоятельного класса“ и что она „может примыкать к самым разнообразным общественным классам“, — эта оговорка может создать неверное и ошибочное представление. У нас довольно широко распространено мнение, что интеллигенция связана общностью интересов, главным образом, идеологических, но отчасти и экономических, и что, таким образом, она, стоя вне и выше существующих общественных классов, образует как бы самостоятельный класс. Это мнение — безусловно ложное, на наш взгляд — может только поддерживаться такими двусмысленными определениями, как указанная формула г. Туган-Барановского, а потому мы позволим себе остановиться на этом вопросе.

Интеллигенция, как группа, безусловно, не имеет „точественных хозяйственных интересов“, а также лишена „сознания общности задач“ (в силу отсутствия общности таких задач). Напротив, как раз по этим двум вопросам ведется самая отчаянная классовая борьба внуtri интеллигенции, где имеются страстные защитники и противники земельной ренты, прибыли на капитал, обобществления орудий производства и т. п., а также сторонники самых

различных политических течений. Ошибка приверженцев интеллигентии-класса заключается в том, что они понимают слово „интеллигентия“ в том узком и условном смысле, какой установился у нас еще в 60-х годах. Под интеллигентией понимали тогда, главным образом, то, что теперь можно бы характеризовать термином „передовая интеллигентия“. Тогда это, в известной мере, соответствовало действительности, оба понятия близко сходились (хотя уже и тогда далеко не покрывались); два вида интеллигентии того времени—дворянская и разночинская—представляли en masse элементы прогрессивные и народолюбивые. Эта их симпатия к общественному слою, к которому они по своему происхождению не принадлежали, создала представление о всенародном и надклассовом характере интеллигентии, об общности ее идеологических интересов, образующей из нее самостоятельный общественный класс. Но по мере того, как рост капитализма перестраивал русское общество на новых началах, свойственных буржуазно-капиталистическим обществам, дифференцировалась и интеллигентия, все определенее и резче распадаясь на группы, тесно связанные по происхождению и по идеологии с отдельными общественными классами. По мере того как определялся антагонистический характер новых классов русского общества, определялся и принципиальный антагонизм интеллигентских групп. Но так как сферой деятельности интеллигентии является умственный и идейный труд и ей приходится, в силу этого, формулировать в виде идеологических требований насущные общественные запросы соответственных групп и классов, то эта формальная общность создает функцию реальной общности интересов всей интеллигентии или значительной ее части. Зато, когда сталкиваются противоположные интересы антагонистических классов, сталкиваются на принципиальной почве и требования соответственных групп интеллигентии. Интеллигентия, таким образом, скорее похожа на идейный парламент, где представители разных классов входят во все возможные группировки, соответственно тому, как группируются интересы пославших их классов. Говорить поэтому о классовых чертах интеллигентии, как целого, нет никакого основания, так как истинно классовые черты в ее среде, т. е. черты, различающие интеллигентию, как группу, преобладают над групповыми чертами, т. е. чертами, об'единяющими ее, общими всем ее членам.

Резюмируем сказанное: а) интеллигентия, как целое, представляет пеструю группу, состоящую из представителей и идеологов разных общественных классов, и б) интеллигентию или отдельные силы ее постольку об'единяют общие интересы, поскольку соответственные интересы об'единяют

в данный исторический момент и те классы, к которым она примыкает.

Заблуждение в рассматриваемом вопросе основывается, как мы сказали, на том, что слово интеллигенция понимается в узком смысле передовой интеллигенции, и игнорируется вся реакционная, консервативная, безразличная и пр. группы в ее среде. Мы позволим себе, однако, воспользоваться этим узким пониманием, так как оно нам понадобится для рассмотрения еще одного интересного вопроса, затронутого нашим автором,—вопроса о связи интеллигенции с народом. Итак, в дальнейшем под интеллигенцией мы будем условно понимать более узкую группу—передовую интеллигенцию. Эта интеллигенция являлась в России в течение полувека,—если не считать ранних представителей ее, замкнутых в тесную сферу влияния,—носителем и проводником идей прогресса и демократии; ее деяния проходят красной нитью через всю новейшую историю и потому уже заслуживают самого серьезного изучения. Но этого мало: памятая роль интеллигенции в прошлом, невольно ставишь себе вопрос: будет ли русское общество и в будущем создавать такую же народолюбивую интеллигенцию, обеспечена ли русскому народу и в будущем ее помочь, или же ему придется собственными усилиями пробивать себе дорогу. Чтобы уяснить себе этот вопрос, необходимо исследовать, какие исторические причины создали ту характерную интеллигенцию, чем вызывалось ее народолюбие, какие нити связывали ее с народом. Решив эти вопросы, мы будем в состоянии выяснить себе, какие перспективы сулит будущее.

Затронув интересующий нас вопрос, г. Туган-Барановский бросает мимоходом такую мысль: „Труд интеллигентного работника оплачивается публикой, народной массой, в которой неимущие классы (включая сюда как наемных рабочих, так и крестьян и иных мелких хозяев) численно преобладают; на этой почве возникает экономическая связь между интеллигенцией и неимущими классами“. Мы должны заметить г. Туган-Барановскому, что на „этой почве“ ровно ничего не возникает и его понимание указанной связи до наивности элементарно. Не говоря уже о том, что и прибыль капиталиста и рента землевладельца оплачиваются также народной массой, г. Туган-Барановскому достаточно было вспомнить, что труд всякого интеллигентного работника оплачивается народной массой, а между тем, на „этой почве“ устанавливается связь только между определенным слоем интеллигенции и неимущими классами. Наконец, что значит самое выражение „возникает экономическая связь“? Значит ли это, что интеллигенция служит народу, потому что он ее оплачивает, как наемник служит нанимателю?

Тогда это толкование, во всяком случае, неприложимо к „передовой“ русской интеллигенции. Или же г. Туган-Барановский этими словами хотел раскрыть внутренние общественно-экономические нити, указать стихийную, бессознательную связь, заставляющую интеллигенцию развивать и отстаивать идеологию масс? Тогда эта связь представлена г. Туган-Барановским слишком примитивно и поверхностно. Хозяйственные нити, связывающие неимущие массы с интеллигенцией, лежат гораздо глубже, самая связь гораздо сложнее и труднее поддается точному анализу, чем это кажется нашему автору. Мы не можем, конечно, вдаваться здесь в подробное развитие нашей мысли, но попробуем, хотя бы в общих чертах, разобраться в этом сложном вопросе.

Существуют два пути образования интеллигентии, как идеологической группы, примыкающей к какому-нибудь общественному классу или слою. Один путь—это нарастание интеллигентии из недр самого класса, выделение самим классом его идеологов. Этот процесс наблюдается обыкновенно у так называемых „командующих“ классов, предъявляющих большой спрос на интеллигентные силы, выделяющих их в большом числе из своей среды и даже присасывающих по мере возможности из других общественных слоев. Второй путь—это образование интеллигентии, примыкающей к данному классу, из элементов другого класса, отрекшихся от прежнего родства и связанной с ним идеологии. Такая „отщепенская“ интеллигентия является обыкновенно отколом „командующих классов“, примыкающим к идеологии тех или иных слоев неимущей массы<sup>\*)</sup>). Таким образом, этот второй процесс характерен именно для неимущих классов.

Если же мы посмотрим шире, охватив оба процесса в их историческом развитии, то мы увидим, что первый процесс свойствен классам, достигшим или достигающим полного развития (приближающимся к понятию „класса в себе“), второй же—классам, лишь зарождающимся, молодым, являющимся классами только в потенциальном значении. По мере того, как эти последние поднимаются все выше и выше по лестнице развития, они также начинают выделять непосредственно свою интеллигентию. Зато, с другой стороны, как только развитой класс, достигший апогея и власти в обществе, начинает разлагаться, падать и усту-

<sup>\*)</sup> Не всякий «отщепенец» идет непременно на службу низшим классам. Разлагающиеся классы выделяют в гораздо большей мере элементы, которые примыкают к классам, входящим в силу, вытесняющим их родной класс с исторической арены. Но нас тут интересует более ограниченная тема, и мы не можем охватить процесс во всей его широте.

пать влиянию нового, подрастающего класса, из его недр начинают все сильнее и сильнее выделяться „отщепенцы“, отряхивающие его прах с своих ног и идущие в качестве идеологов навстречу новым классам, нарождающимся из хаоса народной массы \*). Этот круговорот интеллигентных сил продолжается неизменно внутри общества и красной нитью проходит через историю. В жизни русского общества это явление оставило свой отпечаток и на изящной литературе. „Отщепенцы“ дворянства шли навстречу подраставшей буржуазии, противопоставляя дворянским Обломовым тип буржуазного дельца Соломина; когда же с 60-х годов буржуазия стала развиваться во всю свою мощь (усиливая этим процесс разложения дворянства), отколки дворянства—„кающеся“ и разночинская интеллигенция, детище мелко-буржуазной среды,—пошли навстречу крестьянской массе, в которой они чаяли найти спасение от буржуазного порядка. Но крестьянство жестоко обмануло их; оно само пошло в сторону буржуазного уклада. В то же время мало-по-малу перестраивались все отношения в русском обществе. Капиталистическое производство, овладев промышленностью, потянуло в деревню, в сельское хозяйство, упорно пробиваясь во все закоулки земли русской. Куда оно не могло проникнуть в форме капиталистической техники, туда проскальзывало в виде капиталистической эксплуатации в ее самой грубой, примитивной, уродливой форме—в форме, напр., кулачества. Прежнее поместное дворянство экономически распалось в буржуазном строе отношений. Вместо старорусских бар, получились производители сельско-хозяйственных продуктов или земельные собственники, сдающие участки в аренду; дворянин-помещик превратился в сельского хозяина, в того же буржуза, только в области сельского хозяйства, и прежняя идеология заменилась или замутилась новой буржуазной идеологией. Так, незаметно, шаг за шагом вытеснялись формы и сущность старого, дворянского строя отношений и мыслей, а где еще сохранилась форма, там уже от прежней сущности не оставалось и следа. Вместе с тем, сильная перемена произошла и в низах общества. Диференцировалась крестьянская масса, из которой начали выделяться и отлагаться разнородные элементы: с одной стороны—крупное, крепкое хозяйство (кулаки, богатеи), зародыш сельской буржуазии, с другой—деревенский пролетариат и полу proletariat в виде бесхозяйных, безлошадных и т. п. Между этими крайними группами осталась масса средних хозяйственных крестьян, охотно принимающих в случае надоб-

\* ) Этот же процесс „отщепенства“ наблюдается также в среде общественных групп, неспособных держаться до роли самостоятельного класса, как, напр., мелкая буржуазия в России.

ности, стоящую по левую руку бедноту, с завистью и вадохом посматривающих направо, типичных мелких буржуа с характерной психологией собственника. На ряду с этими преобразованиями в обществе возник и быстро стал расти новый общественный класс—промышленный пролетариат.

Диференциация общества и его перестройка на новых буржуазных началах, соответствующих требованиям капитализма, видоизменила и обмен интеллигентских сил в обществе. Громадный рост капитализма и буржуазии предъявил громадный спрос и на интеллигенцию. Буржуазный класс и реорганизованный класс землевладельцев стали сами поглощать выделяемые ими интеллигентные силы. Мало того, могучий рост буржуазии увлекал немало интеллигентных сил из мелкобуржуазных слоев и даже отчасти те, пока немногочисленные, одиночки, которые появлялись из глубины народных масс. Благодаря этому, значительно сократился приток интеллигенции к неимущим классам из других общественных групп, но зато начал мало-по-малу замечаться другой процесс: появление интеллигентных сил из массы, главным образом, из городского пролетариата. Этот новый общественный класс начинает в своем восходящем движении выделять, подобно другим классам, свою классовую интеллигенцию, хотя пока еще в слабых размерах. Главные идеологические силы этого класса все еще пополняются из рядов „командующих“ классов путем „отщепенства“. Вот в общих чертах тот процесс, посредством которого устанавливается общественная—бессознательная—связь между интеллигенцией и неимущей массой. А сознательная связь?—спросит читатель. Сознательная связь есть отражение того же процесса в психологии „отщепенца“. Надо иметь в виду, что процесс „отщепенства“, являющийся в социальном смысле следствием разложения (или неустойчивого равновесия) данного класса, психологически отражается в мозгу индивида, как неудовлетворенность идеологией этого класса, как скептическое и критическое к ней отношение, как потребность „ревизии“ этой идеологии. Характер этой ревизии, ее глубина и результаты, к которым может притти индивид (или группа их), зависят, главным образом, от степени разложения данной психологии (а, следовательно, и самого класса) и от соотношения сил в обществе в данный момент. Тут мы могли бы в общих чертах наметить два пункта: 1) чем глубже разлад в психологии „отщепенца“, тем дальше уйдет он от идеологии родной группы, к тем более крайней группе он примкнет и тем полнее проникнется ее типичной психологией; 2) чем менее резко выражена диференциация общества, чем менее определенно сказывается антагонизм интересов разных групп, тем легче „отщепенцу“ стать народолюбцем, тем скорее

и полнее усваивает он идеологию неимущих масс, идеологию в той, обыкновенно неясной, форме, в какой он может выработаться в мало дифференцированном обществе.

Мы старались схематически наметить тот путь, посредством которого устанавливается общественная и психологическая связь между интеллигенцией и народом, и думаем, что это схематическое изложение покажет, какую сложную и трудную задачу представляет затронутый нами вопрос. И от этого капитального вопроса г. Туган-Барановский думал отмахнуться поверхностной и лишней всякого смысла фразой. Мы думаем, что лучше было бы совсем не трогать этого вопроса, чем, затронув, дать такого sorta ответ,—хотя бы даже в „популярной“ статье. Впрочем, может быть, это не есть плод легкомысленного отношения к читателю, а просто неудачная экскурсия в чуждую область. Примеры этому ведает история. Г. Туган-Барановский нам известен, как экономист; но еще прежде—будучи марксистом,—если не ошибаюсь, в 1896 г. он проделал на страницах того же „Мира Божьего“ такую же экскурсию в область социологии и с таким же успехом. Тогда марксистам приходилось откращиваться от всей той „марксистины“, которую нагородил г. Туган-Барановский. Теперь было бы то же самое, если бы наш автор оставался верен своим прежним взглядам. Сейчас же нам, конечно, за него отвечать не приходится, но все-таки в интересах читателей перестаньте, г. Туган-Барановский, захаживать в социологию, право, лучше не надо...  
*Studiate la matematica e lasciate ei donna!*

# ОГЛАВЛЕНИЕ.

---

	Стр.
<i>От издательства</i> . . . . .	3
<i>П. Лепешинский.—Красивый финал красивой жизни</i> .	5
<i>Б. Б.—В. В. Воровский (П. Орловский)</i> . . . . .	11

## Статьи Воровского.

I. Базаров и Санин (Два нигилизма) . . . . .	15
II. Лишние люди . . . . .	43
III. Из истории новейшего романа (Горький, Куприн, Андреев) . . . . .	81
IV. „Мятущиеся“ и „мечущиеся“ . . . . .	135
V. Представляет ли интеллигенция общественный класс? 147	

---

~~1-25  
423892/sets~~

83.3P5

B75

K.B.

68394

International  
1989 year

Beaufort

